

РЭЙ БРЭДБЕРИ ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ



Ray
Ray Bradbury

Гринтаунский цикл

Рэй Брэдбери

Вино из одуванчиков

«ЭКСМО»

1957

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

Брэдбери Р. Д.

Вино из одуванчиков / Р. Д. Брэдбери — «Эксмо»,
1957 — (Гринтаунский цикл)

ISBN 978-5-699-94693-8

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с ним одно лето, наполненное событиями радостными и печальными, загадочными и тревожными; лето, когда каждый день совершаются удивительные открытия, главное из которых – ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь! «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери – классическое произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-699-94693-8

© Брэдбери Р. Д., 1957

© Эксмо, 1957

Содержание

По эту сторону Византии	6
I	11
II[2]	13
III[3]	18
IV[4]	21
V	25
VI[6]	27
VII	29
VIII[8]	30
IX[9]	31
X	36
XI[11]	37
XII	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Рэй Брэдбери

Вино из одуванчиков

Ray Bradbury
THE DANDELION WINE
Copyright © 1957 Ray Bradbury

© 1953 by Ray Bradbury
© Оганян А., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

*Уолтеру И. Брэдбери, Не дядюшке, не кузену, А самым
решительным образом – Редактору и другу!*

По эту сторону Византии

Вступительное слово

Эта книга, как и большинство моих книг и рассказов, возникла нечаянно. Я, слава богу, начал постигать природу таких внезапностей, будучи еще весьма молодым писателем. А до того, как и всякий начинающий, я думал, что идею можно принудить к существованию только битьем, мытьем и катаньем. Конечно, от такого обращения любая уважающая себя идея подожмет лапы, откинется на спину, уставится в бесконечность и околеет.

Можно сказать, мне повезло: в двадцать с небольшим лет я увлекался словесными ассоциациями: просыпаясь поутру, шествовал к своему столу и записывал любые приходящие на ум слова или словесные ряды.

Затем я во всеоружии обрушивался на слово или вставал на его защиту, призывая ватагу персонажей взвесить это слово и показать мне его значение в моей жизни. Через час или два, к моему удивлению, возникал новый, законченный рассказ. Совершенно неожиданно и так восхитительно! Вскоре я обнаружил, что подобным образом мне суждено работать всю оставшуюся жизнь.

Поначалу я перебирал в памяти слова, которые описывали мои ночные кошмары и страхи моего детства, и лепил из них рассказы.

Потом я пристально посмотрел на зеленые яблони и старый дом, в котором родился, и на дом по соседству, где жили мои бабушка и дедушка, на лужайки летней поры – места, где я рос, и начал подбирать к ним слова.

В этой книге, стало быть, собраны одуванчики из всех тех лет. Метафора вина, многократно возникающая на этих страницах, на удивление уместна. Всю свою жизнь я копил впечатления, запрягивал их куда-нибудь подальше и забывал. При помощи слов-катализаторов мне предстояло каким-то образом вернуться и распечатать воспоминания. Что-то в них будет?

С двадцати четырех до тридцати шести лет дня не проходило, чтобы я не отправлялся на прогулку по своим воспоминаниям среди дедовских трав северного Иллинойса, надеясь набрести на старый недогоревший фейерверк, ржавую игрушку, обрывок письма из детства самому себе, повзрослевшему, чтобы напомнить о прошлом, о жизни, о родне, о радостях и омытых слезами горестях.

Это занятие превратилось в игру, в которую я ушел с головой, – интересно, что мне запомнилось про одуванчики или про сбор дикого винограда в компании папы и брата. Я мысленно возвращался к бочке с дождевой водой – рассаднику комарья под боковым окном, выискивал ароматы золотистых мохнатых пчел, висевших над виноградной оранжереей у заднего крыльца. Пчелы, знаете ли, благоухают, а если нет, то должны, ибо их лапки припорошены пряностями с миллионов цветов.

В более зрелые годы мне захотелось вспомнить, как выглядел овраг, особенно тогда, когда поздними вечерами я возвращался домой с другого конца города, после сеанса «Призрака Оперы» с живописными ужасами Лона Чейни, а мой брат Скип забегал вперед и прятался под мостом через ручей, откуда, подобно Неприкаянному, выпрыгивал вдруг, чтобы меня сграбастать, а я с истошными воплями улепетывал, спотыкался, снова бежал и верещал всю дорогу до самого дома. Бесподобно!

Играя в словесные ассоциации, я попутно встречался и сталкивался с истинной и старинной дружбой. Из своего детства в Аризоне я позаимствовал для этой книги своего товарища Джона Хаффа и перенес его на восток, в Гринтаун, чтобы попрощаться с ним как подобает.

Попутно я садился завтракать, обедать и ужинать с давно почившими и обожаемыми мною людьми. Ведь я на самом деле любил своих родителей, дедушку-бабушку и брата, несмотря на то что тот, бывало, мог меня, что называется, «подставить».

Я то оказывался в погребе, работая с отцом на винном прессе, то на веранде в ночь Дня Независимости, помогая своему дядюшке Биону заряжать его самодельную медную пушку и палить из нее.

Вот тут-то я и столкнулся с неожиданностью. Конечно, никто не велел мне быть застигнутым врасплох, мог бы я добавить от себя. Сам виноват. Я набрел на старые и лучшие способы сочинительства благодаря своему неведению и экспериментаторству и вздрагивал каждый раз, когда истины выпархивали из кустарника, как перепелки, чуя выстрел. Как ребенок, который учится ходить и видеть, я шел к вершинам писательского мастерства наобум. Научился позволять своим чувствам и Прошлому рассказывать мне все, что было истинным.

Так я превратился в мальчика, бегущего с ковшом за чистой дождевой водой, зачерпнутой из бочки на углу дома. И, разумеется, чем больше воды вычерпываешь, тем больше ее заливается. Поток никогда не иссякал. Как только я научился снова и снова возвращаться в те далекие времена, у меня возникло множество воспоминаний и чувственных ощущений, которые можно было обыгрывать, не обрабатывать, а именно обыгрывать. Грош цена «Вину из одуванчиков», если оно не есть спрятавшийся в мужчине мальчишка, играющий в божьих полях на зеленой августовской траве, в пору своего взросления, старения и ощущения тьмы, поджидающей под деревьями, чтобы посеять кровь.

Меня позабавил и несколько озадачил некий литературный критик, написавший несколько лет назад аналитическую рецензию на «Вино из одуванчиков» и более реалистичные произведения Синклера Льюиса, в которой он недоумевает: как это я, родившийся и выросший в Уокигане, переименованном мною в Гринтаун для моего романа, не заметил в нем уродливой гавани, а на его окраине удручающего угольного порта и железнодорожного депо.

Ну конечно же, я их заметил и, будучи прирожденным чародеем, был пленен их красотой. Разве могут быть в глазах ребенка уродливыми поезда и товарные вагоны, запах угля и огонь? С уродливостью мы сталкиваемся в более позднюю пору и начинаем всячески ее избегать. Считать товарные вагоны – первейшее занятие для мальчишек. Это взрослые бесятся и улюлюкают при виде поезда, который преграждает им дорогу, а мальчишки восторженно считают прикатившие издали вагоны и выкликают их названия.

К тому же именно сюда, в это самое, якобы уродливое, депо прибывали аттракционы и цирки со слонами, которые в пять утра в темноте поливали могучими едкими струями мостовые.

А что до угля из порта, то каждую осень я спускался в подвал в ожидании грузовика с железным желобом, по которому с лязгом съезжала тонна красивейших метеоров, падающих в мой подвал из глубокого космоса, угрожая похоронить меня под грудой черных сокровищ.

Иными словами, если ваш сынишка – поэт, то для него лошадиный навоз – это цветы, чем, впрочем, лошадиный навоз всегда и является.

Пожалуй, новое стихотворение лучше, чем сие предисловие, объяснит, как из всех месяцев Лета моей жизни проросла эта книга.

Вот как оно начинается:

Не из Византии я родом,
А из иного времени и места,
Где жил простой народ,
Испытанный и верный.
Мальчишкой рос я в Иллинойсе.
А именно в Уокигане,

Название которого
Непривлекательно и
Благозвучием не блещет.
Оттуда родом я, друзья мои,
А не из Византии.

Стихотворение продолжается описанием моей привязанности к родным местам длиною в жизнь:

В своих воспоминаниях,
Издавна, с верхушки дерева,
Я вижу землю, лучезарную,
Любимую и голубую,
Такую и Уильям Батлер Йейтс
Признал бы за свою.

Уокиган, в котором я частенько бываю, не лучше и не уютнее любого другого среднезападного американского городишки. Он почти утопает в зелени. Кроны деревьев смыкаются над серединой улицы. Дорога перед моим старым домом все еще вымощена красным кирпичом. Так что же особенного в этом городе? Да то, что я там родился. Он стал моей жизнью. Я должен был написать о нем как подобает:

Среди мифических героев мы росли
И ложкою хлеб Иллинойса намазывали
Светлым джемом – божественною
Пищей, чтобы его разбавить
Арахисовым маслом
Цвета бедер Афродиты...
А на веранде – спокойный и
Решительный – мой дед,
Ходячая легенда,
Достойный ученик Платона,
Его слова – чистейшая премудрость,
И светлым золотом искрится взгляд.
А бабушка тем временем
«Разодранный рукав печали»¹
Чинит и вышивает холодные
Снежинки редкой красоты и
Блеска, чтобы припорошить
Нас летней ночью.
Дядя-курильщики
Глубокомысленно шутили,
А ясновидящие тетушки
(Под стать дельфийским девам)
Летними ночами
Всем мальчикам,
Коленопреклоненным,

¹ У. Шекспир. «Макбет», акт 2, сцена II. (Здесь и далее прим. перев.)

Как служки в портиках античных,
Пророческий разлили лимонад;
Потом шли почивать
И каяться за прегрешения невинных;
У них в ушах грехи,
Как комарье, зудели
Ночами и годами напролет.
Нам подавай не Иллинойс, не Уокиган,
А радостные небеса и солнце.
Хоть судьбы наши заурядны,
И мэр наш далеко умом не блещет,
Подобно Йейтсу.
Мы знаем, кто мы есть. В итоге что?
Византия.
Византия.

Уокиган/Гринтаун/Византия.

Так, значит, Гринтаун существовал?

Да, и еще раз да! А существовал ли на самом деле мальчишка по имени Джон Хафф?

На самом деле существовал. И это его настоящее имя. Не он меня покинул, а я. Эта история со счастливым концом. Он жив и поныне, сорок два года спустя. И помнит нашу любовь.

И Неприкаянный существовал?

Да. Так его и звали. Когда мне было шесть лет, он рыскал ночами по нашему городу, наводя на всех ужас. Его так и не поймали.

И самое важное: существовал ли на самом деле большой дом бабушки и дедушки, населенный постояльцами, дядюшками и тетюшками? На этот вопрос я уже ответил.

А овраг всамделишный, глубокий и черный в ночную пору? Он был и остается таким. Несколько лет назад я с опаской водил туда своих дочерей, думая, что с годами овраг мог обмелеть. Я с превеликим облегчением и удовольствием могу заверить вас, что овраг стал еще глубже, темнее и таинственнее прежнего. Даже теперь я бы не посмел возвращаться через него домой после просмотра «Призрака Оперы».

Итак, Уокиган был Гринтауном, а тот – Византией, со всем счастьем, которое под ним подразумевалось, и со всей грустью, которая звучит в этих именах. Люди в нем были богами и лилипутами и знали, что они смертны, поэтому лилипуты ходили, гордо вытянувшись вверх, чтобы не смущать богов, а боги скрючивались, чтобы коротышки чувствовали себя в своей тарелке. В конце концов, не в этом ли заключается наша жизнь – в способности ставить себя на место других людей и смотреть их глазами на пресловутые чудеса и говорить: «А, так вот как вы это видите. Теперь я запомню».

Итак, я чествую смерть и жизнь, тьму и свет, старое и молодое, смелое и глупое, вместе взятые, чистый восторг и полный ужас, написанный мальчишкой, который некогда висел вверх тормашками на деревьях, напяливал на себя костюм летучей мыши с сахарными клыками и, наконец, свалился с дерева, когда ему минуло двенадцать, пошел и набрел на игрушечную пишущую машинку и напечатал свой первый «роман».

А вот еще одно воспоминание напоследок.

Огненные шары.

В наши дни их редко встретишь, хотя в некоторых странах, как я слышал, их еще делают и наполняют теплым дыханием подвешенной снизу жженой соломки.

Но в Иллинойсе в тысяча девятьсот двадцать пятом году они у нас еще были. И одним из последних воспоминаний о моем дедушке будет это – последний час ночи на Четвертое июля,

сорок восемь лет назад, когда деда и я вышли на лужайку, и развели костерок, и наполнили красно-бело-синий в полосочку грушевидный бумажный шар горячим воздухом, и держали в руках яркого потрескивающего ангела в эту прощальную минуту перед крыльцом, на котором выстроились дядюшки и тетушки, кузены, мамыши и папаши, а потом очень бережно выпустили из наших пальцев в летний воздух над засыпающими домами среди звезд все, что было нашей жизнью, светом, таинством – хрупким и непостижимым, ранимым и прекрасным, как само бытие.

Я вижу, как дедушка, погруженный в свои раздумья, провожает взглядом парящий свет. Вижу себя: глаза на мокром месте, потому что все закончилось, ночь прошла. Я понимал, что другой такой ночи никогда уже не будет.

Никто ничего не сказал. Мы просто смотрели вверх на небо, вдыхали и выдыхали и думали об одном и том же. Но никто ничего не сказал. Хотя кто-то, в конце концов, должен был что-то сказать. И вот этим *кем-то* оказался я.

Вино по-прежнему дожидается в недрах погреба.

Моя возлюбленная семья все еще сидит в темноте веранды.

Огненный шар все еще плывет, маячит и пламенеет в ночном небе еще не погребенного лета.

Как и почему?

Да потому что я так сказал.

Рэй Брэдбери, лето 1974 года

I

Безмятежное утро. Город, укутанный во тьму, нежится в постели. Погода насыщена летом. Дуновение ветра – блаженство. Теплое дыхание мира – ровно и размеренно. Встань, выгляни из окна, и тебя мгновенно осенит – вот же он, первый миг всамделишной свободы и жизни, первое летнее утро.

В сей предрассветный час на третьем этаже в спальне под стрельчатым потолком только что проснулся Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, и доверчиво пустился в плавание по лету. Его окрыляла высота самой внушительной башни в городе, что позволяла ему реять на июньских ветрах. По ночам, когда кроны деревьев волнами накатывали друг на друга, он метал свой взор, словно луч маяка, во все стороны поверх буйного моря ясеня, дуба и клена. Но сейчас...

– Ух ты, – прошептал Дуглас.

Впереди целое лето, день за днем, предстояло вычеркнуть из календаря. Он представил, что его руки, как у богини Шивы из путеводителя, мечутся во все стороны, обрывая кисленькие яблочки, персики и черные сливы. Он облачится в листву деревьев и кустарников, окунется в речные воды. Он не без удовольствия будет примерзать к заиндевелым дверцам ледника. Он будет радостно поджариваться на бабушкиной кухне за компанию с целым десятком тыщ курочек.

Но сейчас ему предстояла привычная задача.

Раз в неделю ему разрешалось оставить на одну ночь папу, маму и младшего братишку Тома в домике по соседству и прибежать сюда, взлететь по мрачной винтовой лестнице под бабушкин-дедушкин купол, укладываясь спать в этой колдовской башне, среди раскатов грома и призраков, чтобы пробудиться до хрустального перезвона молочных бутылей и сотворить свой чародейский обряд.

Он встал во тьме перед распахнутым окном, сделал глубокий вдох и выдохнул.

Тут же погасли уличные фонари, словно свечки на черном пироге. Он выдыхал снова и снова – стали исчезать звезды.

Дуглас улыбался, указуя пальчиком.

Туда и туда. Теперь – сюда и сюда...

На сумрачной предутренней земле прорезывались желтые квадратики. Вдруг в предрассветном далеке зажглась россыпь окон.

– Все зевнули. Хором! И встали.

Большой дом под его ногами пришел в движение.

– Деда, вылавливай зубы из стакана! – Он выдержал должную паузу. – Бабуля, прабабушка, принимайтесь печь горячие блинчики!

Сквозняк разнес теплое благоухание текучей блинной массы по коридорам, дразня ароматом постояльцев, тетюшек, дядюшек и кузенов в гостевых опочивальнях.

– Улица Всех-Превсех Стариков и Старушек, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Ну-ка, прокашлялись! Встали с постели! Приняли пилюли! И – ходу! Мистер Джонас, запрягайте свою лошадку, выкатывайте свой фургон с добром!

Неприветливые дома по ту сторону оврага приоткрыли недобрые драконьи глазищи. Вскоре вниз по утренним улицам две пожилые дамы покатают на своей электрической Зеленой Машине, приветствуя всех собачек.

– Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо!

И вот уже, рассыпая раскаленные голубые искры, городской трамвай плывет по руслу мощенных кирпичом улиц.

– Джон Хафф? Чарли Вудмен? Готовы? – прошептал Дуглас Детской улице. – Готовы? – раскисшим лужайкам, чью росу впитали бейсбольные мячики, словно губки, пустым веревочным качелям на ветвях деревьев.

– Мама, папа, Том, просыпайтесь!

Будильники ласково затренькали. Часы на здании суда гулко загудели. Птицы вспорхнули с деревьев, как сеть, закинутая его рукой, рассыпая свои трели. Дуглас – дирижер оркестра простер руку к небу на востоке.

И Солнце начало восходить.

Он сложил руки на груди и расплылся в улыбке настоящего волшебника.

«Вот так-то, – подумал он, – стоит мне только повелеть, как все срываются с места и бегут! Лето выдастся на славу». И напоследок он одарил город щелчком пальцев.

Двери домов распахнулись настежь – из них вышли люди.

Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось!

II²

В то утро, пробегая по лужайке, Дуглас Сполдинг разорвал паутинку. Одна-единственная, невидимая, протянутая по воздуху струнка коснулась его лба и беззвучно лопнула.

Уже это незначительное событие подсказало ему, что денек предстоит особенный. Потому что, как сказал ему в автомобиле папа, увозя его вместе с десятилетним Томом за город, бывают дни, состоящие исключительно из запахов: вдыхаешь весь мир в одну ноздрю, а выдыхаешь в другую. А бывают дни, продолжил он, обращенные в слух, когда улавливаешь любой шум и шорох во Вселенной. Бывают дни, пригодные для дегустации, и дни, благоприятные для осязания. А некоторые – для всех органов чувств сразу. А сегодняшний день, добавил он, благоухает, как большой безымянный сад, выросший ночью за горами и наполнивший землю, насколько хватает взгляд, теплой свежестью. В воздухе пахло дождем, но не было туч. В роще мог бы раздаться чей-то смешок, но царило молчание...

Дуглас следил за убегающей землей. Он не чувствовал ни садов, ни дождя, ибо какие могут быть запахи без яблонь и облаков? А тот смешок в чаще леса?

Но факт оставался фактом – Дуглас поежился, – этот день, без видимой причины, стал особенным.

Автомобиль остановился в самой гуще притихшего леса.

– А ну-ка, мальчики, полегче там.

Они пихали друг друга локтями.

– Слушаемся, сэр.

Они вылезли из машины, прихватив синие жестяные ведра, навстречу запаху только прошедшего дождя, подальше от скучной грунтовой дороги.

– Ищите пчел, – велел папа. – Пчелы выются вокруг винограда, как мальчишки у кухни, правда, Дуг?

Дуглас вскинул глаза.

– Где ты витаешь? – поинтересовался папа. – Больше жизни! Иди с нами в ногу.

– Слушаюсь, сэр.

Они углубились в лес. Впереди – долговязый отец, в его тени – Дуглас, а низкий Том семенял в тени брата. Они подошли ко взгорку и огляделись по сторонам.

– Вот! И вот! Видно? – вопрошал отец. – Здесь обитают мирные летние ветры и уходят в зеленые дебри, незримые, как прозрачные киты.

Дуглас быстро осмотрелся, ничего не заметив, и решил, что это очередной папин розыгрыш, который, под стать дедушке, обожал розыгрыши. Но... но все равно, Дуглас замер и прислушался.

«Да, что-то должно случиться, – подумал он, – я знаю!»

– Вот папоротник венерин волос. – Папа шагнул, сжимая дужку ведра, которое раскачивалось, как колокол. – Чуете? – Он взрыхлил почву носком ботинка. – Целый миллион лет копились палые листья для этой роскошной жирной лесной подстилки. Подумай, сколько понадобится листопадов, чтобы она образовалась!

– Ух ты, – изумился Том, – я ступаю бесшумно, как индеец!

Дуглас впечатал ступню в суглинок, но глубины не ощутил, а только насторожился.

«Нас окружили, – промелькнуло у него в голове. – Значит, что-то должно случиться! Но что именно?» Он замер. «Выходите! Эй, где вы там?! Кто бы вы ни были!» – беззвучно кричал он.

² Рассказ Р. Брэдбери «Озарение» («Illumination», Reporter, May 16, 1957). Здесь и далее указываются опубликованные произведения, которые впоследствии стали главами настоящей книги.

Впереди Том с папой неспешно прогуливались по притихшей земле.

– Тончайшие кружева, – негромко проговорил папа.

И он вскинул руки к деревьям, показывая, как это кружево было сплетено по небу или как небо было вплетено между ветвей деревьев. Сразу не разберешь.

– Но вот же оно, – улыбнулся он, и голубое-зеленое плетение продолжалось. – Если приглядеться, то увидишь, как лес трудится на гудящем ткацком станке. – Папа удобно устроился и разглагольствовал о том о сем. Слова непринужденно слетали с его уст. Его речь потекла еще свободнее, поскольку он все время подтрунивал над собственными словами. Ему нравится слушать тишину, говорил он, если к ней вообще возможно прислушиваться, ведь, продолжал он, в этой тишине можно услышать, как осыпается пыльца в воздухе, разогретом пчелиным гудением. Именно! Разогретом пчелами! Прислушайтесь к водопаду птичьих рулад, там, за деревьями!

«Вот, – думал Дуглас, – вот оно, приближается! Бежит! Я его не вижу! А оно бежит прямо на меня!»

– Лисий виноград! – воскликнул папа. – Вот так удача! Вы только гляньте!

Нет! У Дугласа аж дух перехватило.

Но Том с папой присели, чтобы запустить свои руки в глубь хрустящей лозы. Чары развеялись. Страшный рыскатель, бесподобный бегатель, скакатель-прыгатель и хвататель душ – улетучился, испарился.

Дуглас, опустошенный и удрученный, пал на колени. Его пальцы погрузились в зеленую тень и вышли окрашенными в такой цвет, словно он пронзил лес ножом и сунул руку в открытую рану.

* * *

– Перерыв на обед, мальчики!

Набрав по полведра лисьего винограда и лесной земляники, преследуемые пчелами, которые олицетворяли, по словам папы, ни больше ни меньше гудящую что-то себе под нос Вселенную, они уселись на изумрудно-замшелое бревно, перемалывая сэндвичи и пытаясь слушать лес, как это умел папа. Дуглас чувствовал на себе папин взгляд и молча этим забавлялся. Папа начал было говорить о том, что пришло ему в голову, но потом, откусив от сэндвича, стал рассуждать:

– Сэндвич на природе – не просто сэндвич. Замечали? Здесь он на вкус не такой, как дома, а пикантнее. С привкусом мяты или хвои... Воздух творит чудеса – аппетит зверский!

Дуглас недоверчиво полизал хлеб с поперченной ветчиной. Да нет вроде... Сэндвич как сэндвич.

Том жевал, кивая в знак согласия:

– Уж я-то тебя понимаю, папа!

«Еще чуть-чуть, и это свершилось бы, – думал Дуглас. – Что бы это ни было, оно было Большое, ой, до чего же Большое! Что-то спугнуло его. Где-то оно теперь? Вернулось в заросли! Нет, у меня за спиной! Нет, оно здесь... почти что здесь...» Он исподволь поглаживал себя по животу.

«Если я подожду, оно вернется. Оно не причинит мне вреда. Я знаю, оно здесь не для этого. Тогда для чего же? Для чего? Для чего?»

– Знаешь, сколько раз мы сыграли в бейсбол в этом году? А в прошлом? А в позапрошлом? – заговорил вдруг Том ни с того ни с сего.

Дуглас посмотрел, как Том быстро-быстро шевелит губами.

– У меня записано! Тысячу пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я почистил зубы за десять лет? Шесть тысяч раз! Сколько раз помыл руки? Пятнадцать тысяч раз. Сколько

раз лег спать? Четыре тысячи с лишним раз, не считая послеобеденного сна. Съел шестьсот персиков. Восемьсот яблок. Груш – двести. Я до груш не очень охоч. Назови что хочешь – у меня вся статистика! Миллиард миллионов дел переделал. Сложено-помножено на десять лет.

«А теперь, – думал Дуглас, – оно опять приближается. Зачем? Потому что Том заговорил? Но почему Том? Том знай себе лопочет. Полон рот сэндвича». Папа – настороженный, как рысь, – на бревне, а изо рта у Тома слова вылетали, как стремительные пузырьки из газировки:

– Прочитал четыреста книг. Утренние сеансы: с участием Бака Джонса – сорок фильмов, с Джеком Хокси – тридцать, с Томом Миксом – сорок пять, с Хутом Гибсоном – тридцать девять. Сто девяносто два раза ходил на мультики про кота Феликса. Десять раз смотрел фильмы с Дугласом Фербенксом. Восемь раз видел Лона Чейни в «Призраке Оперы». Четыре раза – Милтона Силлса. И один раз кино с Адольфом Менжу про любовь: пришлось проторчать девяносто часов в туалете, пока вся эта ерунда не кончилась и не начались «Кот и канарейка» или «Летучая мышь», и все вцепились друг в друга и вопили два часа кряду, не выпуская. За это время я съел четыреста леденцов на палочке, триста шоколадных батончиков «Тутси роллс», семьсот рожков с мороженым...

Том неторопливо разглагольствовал еще минут пять, пока папа не поинтересовался у него:

– Сколько ягод ты успел нарвать, Том?

– Двести пятьдесят шесть – ровно! – последовал немедленный ответ.

Папа рассмеялся, и обед подошел к концу. Они снова ушли в зеленые тени на поиски винограда и крошечных земляничек. Все трое наклонились, их руки сновали туда-сюда. Ведра тяжелели. Затаив дыхание, Дуглас думал: «Да, да. Оно опять приблизилось! Почти дышит мне в затылок! Не смотри! Работай. Рви ягоды. Насыпай в ведро. Поднимешь глаза – отпугнешь. Не упусти его на этот раз! Но как бы так извернуться, чтобы посмотреть ему прямо в глаза? Как? Как?»

– А у меня снежинка есть в спичечном коробке, – сказал Том, разглядывая с улыбкой перчатку из винного сока у себя на руке.

«Замолчи!» – чуть было не вскричал Дуглас. Но нет, крик растревожил бы эхо, и Существо сбежало бы!

А, постой-ка... Том говорил, а оно, такое большое-пребольшое Существо, подкрадывалось все ближе. Оно не боялось Тома. Он приманивал Существо своим дыханием. Они с Томом заодно!

– В прошлом году, в феврале, – сказал Том, усмехаясь, – во время метели я поднял коробок вверх и поймал снежинку. Запер – и бегом домой, в ледник ее!

Близко, Оно совсем близко. Дуглас уставился на мельтешащие губы Тома. Ему захотелось вскочить, ибо он чувствовал, как за лесом вздымается исполинская приливная волна. Еще мгновение – и она обрушится на них и раздавит навсегда...

– Вот так-то, – размышлял Том, увлеченно собирая виноград. – Во всем Иллинойсе только у меня есть снежинка посреди лета. Дороже алмазов, как пить дать! Завтра я ее достану, Дуг, чтобы ты тоже ее увидел...

В какой-нибудь другой день Дуглас фыркнул бы, отмахнулся, запротестовал. Но сейчас, когда великанское Существо несло на них, низвергаясь с небес, он мог только, прикрыв веки, кивнуть.

Том перестал рвать ягоды, обернулся, заинтригованно уставившись на братца.

Выгнутая спина Дугласа – законная добыча! Том вскочил, заверещал – и как сиганет на него! Они повалились наземь, схлестнулись и покатались кубарем.

Нет! Дуглас приказал себе ни о чем другом не думать. Нельзя! А потом вдруг... Можно. Почему нет? Да! Потасовка, соударение тел, падение на землю не отпугнуло нахлынувшее море, которое все затопило и вынесло их на травянистый берег в чащу леса. Костяшки пальцев

стукнули его по зубам, он ощутил во рту ржавый теплый привкус крови. Он крепко-накрепко сграбастал Тома, и они лежали в тишине. Сердечки колотились, ноздри сопели. И наконец, медленно, опасаясь, что ничего не обнаружится, Дуглас приоткрыл один глаз.

И все, все-превсе оказалось на своем месте.

Подобно огромной радужке гигантского глаза, который тоже только что раскрылся и раздался вширь, чтобы вобрать в себя все на свете, на него уставилась Вселенная.

И он понял: то, что нахлынуло на него, останется с ним навсегда и никуда больше не сбежит.

«Я – живу», – подумал он.

Его пальцы в яркой крови дрожали, как лоскуты диковинного флага, только что обретенного, но доселе невиданного, и он недоумевал, какой стране и какую клятву верности он должен принести. Удерживая Тома, но не осознавая, что это он, Дуглас потрогал свободной рукой кровь, словно надеялся ее сколупнуть, поднял руку и перевернулся. Затем выпустил Тома и лежал на спине с воздетой к небу рукой, а сам стал головой, откуда его глаза, как стражи сказочного замка, таращились сквозь опускающую решетку на подъемный мост – его плечо, и пальцы – кровавый пунцовый стяг, колыхались, пронизанные светом.

– Что с тобой, Дуг? – спросил Том.

Его гулкий, потусторонний голос доносился из воды, со дна зеленого замшелого колодца.

Под ним шепталась трава. Он опустил руку, чувствуя, как ее обволакивает онемелость. А далеко внизу поскрипывали в туфлях пальцы ног. В раковинах ушей вздыхал ветер. Перед его стеклянными глазами яблоками промелькнула, сверкая картинками, как в искристом хрустальном шаре, вся Вселенная. Рассеянные по лесу цветы заменяли солнце и огненные точки на небе. Птицы промелькнули камнями, запущенными в необъятный свод небес, как в перевернутый вверх дном пруд. Он цедил сквозь зубы воздух, вдыхая лед и выдыхая пламя. Насекомые рассекали воздух с электрической резкостью. Десятки тысяч волосков на его голове отросли на одну миллионную долю дюйма. Он слышал, как два сердца бьются в его ушах, а третье – в горле. Два сердца пульсируют в запястьях, а настоящее стучит в груди. В его теле раскрывались мириады пор.

– Я на самом деле живу. Я никогда раньше этого не осознавал, а если осознавал, то не запомнил!

Он закричал что есть мочи, но про себя, раз десять! Подумать только, подумать только! Двенадцать лет прожить – и вот только сейчас обнаружить редкий хронометр, золотые часы, с гарантией на семьдесят лет, забытые под деревом и найденные во время потасовки.

– Что с тобой, Дуг?

Дуглас завопил, сграбастал Тома в охапку, и они покатались по земле.

– Ты что, сбрендил, Дуг?

– Сбрендил!

Они покатались под косогор – им в рот влетало солнце, осколками лимонного стекла кололо глаза – и они хватали ртом воздух, как выброшенная на берег форель, хохоча до слез.

– Ты что, совсем спятил, Дуг?

– Нет, нет, нет, нет!

Смежив веки, Дуглас видел пятнистых леопардов, беззвучно крадущихся во тьме.

– Том! – Потом вполголоса: – Том... кто-нибудь в мире... знает, догадывается о том, что он живет?

– Скажешь тоже! Конечно!

Леопарды бесшумно просеменили в более темные края, выходя из его поля зрения.

– Надеюсь, – прошептал Дуглас. – Очень надеюсь, что догадываются.

Дуглас открыл глаза. Над ним возвышался папа на фоне зеленого лиственного неба и смеялся, руки в боки. Их глаза встретились. Дуглас встрепнулся. «Папа знает, – подумал он. –

Все так было задумано. Он привел нас сюда с умыслом, чтобы это со мной случилось! Он в этом замешан! Он в курсе всего этого. А теперь он знает, что и я знаю».

Из воздуха возникла рука и схватила его. Поставленный на ноги, вместе с Томом и папой, в синяках, потрепанный, озадаченный, исполненный благоговения, Дуглас бережно поддерживал свои странные локти и не без удовольствия облизывал рассеченную губу. Потом он взглянул на папу и Тома.

– Я сам понесу ведра, – сказал он. – Сегодня я все беру на себя.

Вопросительно улыбаясь, они вручили ему ведра.

Он стоял, слегка покачиваясь, крепко сжимая в своих отягощенных руках лес, собранный, полновесный и налитой соками. «Я хочу почувствовать все, что только можно, – думал он. – Пусть я устану, я хочу прочувствовать эту усталость. Я не должен забывать, что я – живу, я знаю, что я живу, мне нельзя этого забывать ни ночью, ни завтра, ни послезавтра».

Он шел с тяжелой ношей, чуть хмельной, а за ним тянулись пчелы и ароматы винограда и солнечного лета. Его пальцы в восхитительных мозолях, руки гудят, ноги спотыкаются, и папа хватается его за плечо.

– Нет, – пробормотал Дуглас, – я в порядке, все нормально.

Лишь спустя полчаса улетучился дух трав, корней, камней и коры замшелого бревна, что отпечатались на его руках, ногах и спине. Пока Дуглас в раздумьях, пусть всё это ускользает, растворяется, выветривается. Брат и молчаливый папа шли за ним, чтобы он, как следопыт, сам прокладывал путь сквозь лес, навстречу невероятному шоссе, которое приведет их в город...

III³

Итак, спустя некоторое время мы в городе.

И вот очередной урожай.

Дедушка стоит на широком переднем крыльце, словно капитан, обзирающий бескрайнюю полосу недвижимого летнего штиля, что прямо по курсу лежит. Он просил ветер, заповедное небо и лужайку, на которой стояли Дуглас и Том, чтобы вопросы задавали только ему.

– Деда, а они уже созрели?

Дед поскреб подбородок.

– Пять сотен, тысяча, две тысячи, как пить дать. Да, да, урожай что надо. Так что за дело, мальчишки! Выбирайте всё подчистую! Десять центов за каждый мешок, доставленный на давяльню!

– Ура!

Мальчишки заулыбались, присели и принялись рвать золотистые цветы, которые наводнили весь мир, выплеснулись из лужаек на мощенные кирпичом мостовые, нежно постукивали в хрустальные оконца погребов и так распалились, что отовсюду ослепительно блистало расплавленное солнце.

– Каждый год, – сказал дедушка, – эти желтогривые буянят. Словно на дворе целый львиный прайд. Засмотришься на них, так еще, чего доброго, ожог сетчатки себе схлопочешь. Простецкий цветок, сорняк, на него и внимания никто не обращает. А мы чтим его благородие – одуванчик.

И вот бережно сорванные одуванчики мешками стаскивают вниз. От них во тьме погреба начиналось свечение. Холодная давяльня стояла наготове. Лавина одуванчиков ее согрела. Дедушка крутил винт пресса, который плавно сжимал цветки.

– Вот... так...

Золотистая струя – эликсир ясного солнечного месяца – побежала, потом хлынула вниз по желобку в чан. Потом брожение останавливали и разливали в чистые бутылки из-под кетчупа, после чего расставляли их искрящимися рядами во мгле.

Вино из одуванчиков.

Слова имели привкус лета. Вино из одуванчиков – это уловленное и закупоренное в бутылки лето. Теперь, когда Дуглас постиг, что живет и ходит по белу свету, чтобы все увидеть и потрогать, он обрел новое знание: каждый особенный день жизни необходимо запечатать, чтобы откупорить его в январский день, когда валит снег, а солнце неделями, месяцами напролет не выходит, и, может быть, какое-нибудь чудо, уже забытое, просится, чтобы его освежили в памяти. Раз уж этому лету суждено стать порой неожиданных чудес, то пусть его целиком сохранят и наклеят этикетки, чтобы всякий раз, когда ему захочется, он смог бы, протянув руку, погрузиться в сырую тьму.

А там – ряды бутылей с одуванчиковым вином, ласковое сияние распустившихся спозаранку цветков, просвечивающие сквозь тончайшую поволоку пыли лучи июньского солнца. Присмотришься к ним в зимний день – и в проталине покажется травка, в кроны деревьев вернутся птицы, листва и цветы и будут колыхаться на ветру, словно континент бабочек. Присмотришься – и стальное небо засинеет.

Держи лето в ладони, налей лето в стакан, совсем крошечный, разумеется, ведь детям полагается малюсенький глоточек с горчинкой; пригуби лета из бокала – и в твоих жилах переменится время года.

– Готово! Теперь дождевая бочка!

³ Рассказ Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» («Dandelion Wine», «Gourmet», June 1953).

Ничто в мире не заменит чистых вод, призванных из далеких озер и душистых полей травяной предрассветной росы, поднятых на небеса, перенесенных в отстиранных массах на девятьсот миль, потрепанных ветрами, наэлектризованных высоким напряжением, а затем конденсированных холодным воздухом. Эта вода, выпадая дождем, насытила свою кристалльность небесами. Взяв что-то от восточного ветра, немного от западного, северного и южного, вода стала дождем, а дождю за этот час, что длилось сие священнодействие, суждено было стать вином.

Дуглас вооружился ковшом, чтобы глубоко зачерпнуть из бочки с дождевой водой.

– Готово!

Вода в чаше шелковистая, прозрачная, шелк с голубым отливом. Она смягчит губы, горло и сердце, если ее отведают. Эту воду должно ему доставить в погреб в ковше или ведерке и излить струями и горными потоками на урожай одуванчиков.

Когда бесновалась вьюга, ослепляя мир, залепляя бельмами снега окна и похищая пар дыхания из разинутых ртов, в один из таких февральских дней даже бабушка исчезала в погребе.

Наверху, в большущем доме, кашляли и чихали, хрипели и стонали, дети температурили, глотки становились красными, как говядина от мясника, а носы – цвета вишневой настойки; микробы, крадучись, лезли во все дыры.

Но вот, восходя из погреба, словно божество Июня, возникала бабушка, явно что-то припрятав под вязаной шалью. Это благоухающее прозрачное нечто разносилось вверх-вниз, по всем комнатам, где царило страдание, и разливалось по стаканам, которые полагалось опрокинуть залпом. Снадобье давешней поры, бальзам солнца и праздных августовских денечков, еле слышных фургонов со льдом на кирпичных мостовых, взрывающих серебристых фейерверков и фонтанирующих газонокосилок, ворошащих муравьиные угодья... и это все-все – в одном стакане!

Да, именно так, даже бабушка, влекомая в погреб Зимы за Июньскими приключениями, способна была молча уединиться в тайном сговоре с душой и духом, равно как и Дедушка, Папа и дядюшка Берг, и любой постоялец, общаясь с канувшим в небытие календарем жизни, с пикниками и теплыми дождиками, ароматами пшеничных полей, свежей воздушной кукурузы и полегшего сена. Даже Бабушка проговаривала заветные золотистые словеса – причем в тот самый миг, когда цветки высыпали под пресс, и их будут твердить каждую божью белую зиму, из зимы в зиму, до скончания века. Улыбаются губы, которые молвят эти слова, как будто во тьме неожиданно солнечный луч проблеснул.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

* * *

Подступают бесшумно. Убегают беззвучно. Травы жмутся к земле и распрямляются вновь. Промчались, словно тень облаков с косогора... они – мальчишки летней поры.

Дуглас отстал, заблудился. Тяжело дыша, он встал у края оврага, на кромке бездны, откуда дул ветерок. Здесь – его ушки на макушке, как у оленя, – он учуял опасность, первозданную и древнюю, как сама вечность. Здесь разделенный город разламывался пополам. Здесь кончалась цивилизация. Здесь были только заросли, и ежечасно случались мириады смертей. И возрождений.

И здесь были тропинки, проторенные или еще не проторенные, которые свидетельствовали о том, что мальчишкам необходимо движение, вечное движение, чтобы возмужать.

Дуглас обернулся. Эта тропа, извиваясь большой пыльной змеей, вела к ледяной обители, где зима коротала дни в золотистую летнюю пору. Эта тропа вела к раскаленным, словно из доменной печи, пескам на берегу озера в июле. А та – к деревьям, на которых мальчишки могли

расти, как кисленькие зелененькие яблочки-китайки, прячущиеся в листве. А эта – к персиковому саду, виноградной оранжерее, арбузам, возлежащим, как «черепаховые» коты, сморенные солнышком. Эта тропа – заросла, но ужасно извилиста, ведет в школу! Эта – как стрела, напрямик ведет на субботние утренние сеансы про ковбоев. А эта – вдоль речки, ведет в еще не исхоженные загородные пределы...

Дуглас нахмурился.

Кто скажет, где начинается город и кончаются нехоженные тропы? Кто скажет, откуда что берется и кому что принадлежит? Вечно будет существовать расплывчатое непостижимое место, где эти два начала борются, и одно из них побеждает на какое-то время года и воцаряется на какой-нибудь улице, в магазине, в ложине, на дереве, в кустарнике. Волны великого моря трав и цветов набегают на город, начиная разбег далеко, в чистом поле, вторгаясь все глубже под натиском времени года. Каждую ночь природа, луга, далекие края текли по дну оврага и проникали в город, с собой принося запахи трав и воды, и город, опустошенный, вымирал и возвращался к земле. И каждое утро овраг понемногу подкрадывался к городу, грозя подтопить гаражи, как дырявые лодки, поглотить старые драндулеты, брошенные на произвол дождя, способного облупить их краску, а значит – обречь на ржавчину.

– Эге-ге-гей! Эге-ге-гей! – Джон Хафф и Чарли Вудмен неслись сквозь тайны оврага, города и времени. – Эге-ге-гей!

Дуглас медленно брел по тропе. В овраг и впрямь приходили за двумя жизненно важными вещами – познать нравы человека и постичь устройство природы. Ведь город есть не что иное, как большой корабль, населенный людьми, пережившими крушение, которые вечно снуют, избавляясь от травы, скалывая ржавчину. Время от времени шлюпка или сарайчик, как корабль, затерянный в безмолвном шторме времен года, шли на дно в тихих заводях термитников и муравейников, проваливаясь в горловину оврага, чтобы испытать на себе стрекотание мельтешащих кузнечиков, подобное трескотне сухой бумаги, когда ее волокут по горячим сорнякам, чтобы тончайшая пыль поглотила все звуки; и, наконец, чтобы лавиной смолы и черепицы рухнуть, подобно горящим святилищам, в костер, запаленный голубой молнией, запечатлевающей с фотовспышкой торжество дикой природы.

Вот, значит, в чем дело: Дугласа манила тайна (человек отнимает у земли, а земля год за годом отвоевывает у человека), осознание того, что города никогда не побеждают, а просто пребывают в тихом ужасе, сполна оснащенные газонокосилками, брызгалками от жучья и шпалерными ножницами, и остаются на плаву ровно столько, сколько велено цивилизацией, но каждый дом готов навечно провалиться в зеленую пучину, как только с лица земли исчезнет последний человек, а садовые совочки с косилками изойдут кукурузными хлопьями ржавчины.

Город. Природа. Жилище. Овраг. Дуглас переводил взгляд с одного места на другое. Но как соотнести одно с другим, как осмыслить чередование, когда...

Взгляд его упал на землю.

Первый обряд лета – сбор урожая одуванчиков, приготовление вина – совершен. Теперь второй обряд требовал от него действий, но он стоял как вкопанный.

– Дуг, ну же!.. Дуг!.. – Бегущие мальчики исчезли из виду.

– Я живу, – размышлял Дуглас. – Но что толку? Они живее меня. Как же так? Как же так?

И, стоя в одиночестве, он увидел ответ, разглядывая свои неподвижные ступни...

IV⁴

Поздним вечером, возвращаясь домой из кино с мамой, папой и братишкой Томом, в ярко освещенной витрине магазина Дуглас узрел теннисные туфли. Он тотчас отвел взгляд, но его лодыжки напряглись, ступни на миг зависли в воздухе – и он сорвался с места. Земля завертелась под ногами. От его рывка магазинный навес захлопал холщовыми крыльями. Мама, папа и брат молча шагали по обе стороны от него. Дуглас шел задом наперед, не сводя глаз с теннисок в витрине, покинутых в ночи.

– Хороший фильм, – сказала мама.

– Хороший, – пробормотал Дуглас.

На дворе июнь. Поздно покупать особую обувь, в которой ступаешь по тротуарам беззвучно, как летний дождичек. Июнь – и земля насыщена необузданной силой, и все пришло в движение. Травы еще выплескиваются из пригородов, окружая тротуары, сажая дома на мель. Еще чуть-чуть – и город опрокинется и пойдет ко дну, не оставив и следа на поверхности клевера и сорняков. А Дуглас оказался в ловушке из мертвого цемента и мощенных красным кирпичом улиц и не мог сдвинуться с места.

– Пап! – выпалил он. – Там, в витрине, теннисные туфли, на кремовой губке...

Отец даже не оглянулся.

– Может, объяснишь, зачем тебе понадобилась новая пара кроссовок? Попробуй-ка!

– Ну...

Потому что в них у тебя такое ощущение, какое возникает каждое лето, как только сбросишь обувь и в первый раз пробежишься по травке. В них такое ощущение, какое бывает, когда высунешь зимой ступни из-под жаркого одеяла на холодный ветер, вдруг подувший из распахнутого окна, и держишь их так, долго-долго, пока снова не запрячешь их под одеяло, чтобы почувствовать, как они превратились в укатанный снег. В теннисках ты чувствуешь себя так же, как каждый год, когда переходишь вброд в медленной воде речку и видишь, что твои ступни теперь оказываются на полдюйма ниже по течению, чем ноги над водой, из-за преломления света.

– Пап, – сказал Дуглас, – это трудно объяснить.

Каким-то образом тем, кто шьет тенниски, известны нужды и желания мальчишек. Они изготавливают подошвы из зефира с пастилой и встраивают в них извилистые пружины, а остальное сплетают из трав, обесцвеченных и опаленных пустыней. Где-то в пластичной глине кроссовок запрятаны тонкие прочные оленьи жилы. Те, кто делает тенниски, наверное, долго следили за ветрами, качающими кроны деревьев, за реками, впадающими в озера. Так оно или нет, но что-то такое заложено в кроссовки, и это нечто есть лето.

Дуглас силился выразить все это словами.

– Ладно, – сказал папа, – а что не так с прошлогодними теннисками? Что тебе мешает откопать их в шкафу?

Ах, можно только пожалеть мальчишек в Калифорнии, где тенниски носят круглый год и даже не представляют себе, что значит отряхнуть с ног зиму, скovyрнуть железные кожаные ботинки, набитые снегом, налитые дождем, и побегать денек босоногим, а после зашнуровать первые новенькие тенниски в этом году – а это даже лучше, чем бегать босиком. Очарование всегда заключается в новой паре туфель. К первому сентября оно, пожалуй, потускнеет, но в конце июня его еще хватает с лихвой: в таких теннисках можно прыгать через деревья, реки и дома. А если захотеть, то и через заборы, тротуары и даже собак!

⁴ Рассказ Р. Брэдбери «В воздухе витает лето» («Summer in the Air», Saturday Evening Post, February 18, 1956).

– Почему ты не хочешь понять, – вопрошал Дуглас, – что ходить в прошлогодних кроссовках просто невозможно?!

Прошлогодние изнутри уже омертвели. Они были превосходны, когда он начал их носить в прошлом году. Но каждый год к исходу лета ты всегда обнаруживаешь, нет, ты всегда знал, что не сможешь в них перемахивать через реки, деревья и дома, ибо они омертвели. А этот год – новый, и он чувствовал, что на этот раз в новой паре обуви ему будет под силу все на свете.

Они поднимались по ступенькам своего дома.

– Прибереги свои деньги, – посоветовал папа. – Через пять-шесть недель...

– Лето же кончится!

В темноте Том уснул, а Дуглас лежал, разглядывая свои ступни в лунном свете, далеко, на том краю кровати, избавленные от железных ботинок – громоздких глыб зимы.

– Причины. Нужно придумать, почему мне до зарезу нужны тенниски.

Как всем известно, на холмах вокруг города царило неистовство дружков-приятелей, которые доводили коров до истерики, приспособливали барометр к атмосферным изменениям, загорали, облезали, как отрывные календари, чтобы снова позагорать. Чтобы их поймать, нужно было бегать быстрее белок и лисиц. А город прямо-таки ошалел, раздраженный зноем, и поэтому припоминал каждую зимнюю ссору и обиду. *Находи друзей, вали недругов!* Вот девиз производителя теннисных туфель на кремовой губке. *Все в мире бежит, ускоряясь? Хочешь догнать? Хочешь быть начеку? – Будь начеку! Носи теннисные туфли на кремовой губке!*

Он поднял свою копилку и услышал слабый перезвон легковесных монет.

«Чего бы ты ни хотел, – думал он, – ты должен добиваться сам. А теперь поищем тропинку в ночном лесу...»

В городе одна за другой гасли витрины. В окно задувал ветер. Похоже было на сплав вниз по течению реки, и ему захотелось окунуть ноги в воду.

Во сне он слышал, как в высокой траве бежит, бежит, бежит кролик.

* * *

Пожилой мистер Сандерсон рассказывал по своему обувному пассажиру, будто хозяин зоомагазина, населенного животными со всех концов света, и ласкал на ходу каждого обитателя. Мистер Сандерсон гладил туфли, выставленные в витрине, которые напоминали ему котам или собакам. Он заботливо прикасался к каждой паре, поправляя шнурки и язычки. Затем он встал в самом центре ковра и, довольно кивая, огляделся по сторонам.

Приближались раскаты грома.

Вот в дверях магазина Сандерсона никого нет, а вот – уже возник Дуглас Сполдинг и неуклюже переминается с ноги на ногу, опустив глаза на свои кожаные ботинки, словно они неуклюже увязли. Гром перестал греметь, когда замерли его башмаки. Теперь, с болезненной медлительностью, осмеливаясь смотреть только на деньги, зажатые в кулачке, Дуглас выступил из яркого света субботнего полдня. Он аккуратно расставил на прилавке столбики из пятицентовиков, десятицентовиков и четвертаков, как шахматист, озабоченный тем, что следующий ход может вывести его на солнечную сторону, а может – в глубокую тень.

– Ни слова! – скомандовал мистер Сандерсон.

Дуглас остолбенел.

– Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, – сказал мистер Сандерсон. – Во-вторых, я вижу тебя каждый день перед моей витриной. Думаешь, я не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, называя вещи их полными именами, ты пришел за теннисными туфлями на сливочной губке – «Королевская корона» – «МЕНТОЛ ДЛЯ ВАШИХ СТУПНЕЙ!». В-четвертых, тебе нужен кредит.

– Нет, – вскричал Дуглас, задыхаясь, словно всю ночь во сне мчался куда-то. – Я могу предложить кое-что получше кредита, – выпалил он. – Но сперва, мистер Сандерсон, сделайте мне маленькое одолжение: не вспомните ли вы, когда в последний раз вы сами надевали кроссовки «Королевская корона»?

Мистер Сандерсон помрачнел.

– Ах, десять, двадцать лет тому назад, может, тридцать. А что?..

– Мистер Сандерсон, не находите ли вы, что должны уважить своих покупателей и хотя бы на минутку примерить тенниски, которые продаете, чтобы знать, каково в них? Если не пробовать этого, то так и забывается. Курит же сигары продавец сигарного магазина? Наверняка продавец сладостей из кондитерской пробует свои конфетки. Так что...

– Ты, наверное, заметил, – сказал старик, – что я, вообще-то, обут.

– Но не в тенниски, сэр! Как вы будете продавать тенниски, если вы не сходите по ним с ума, и как вы будете сходить по ним с ума, если вы с ними не водитесь?

От мальчишечьей горячности мистер Сандерсон слегка отпрянул, взявшись за подбородок.

– Н-ну...

– Мистер Сандерсон, – сказал Дуглас, – продайте мне кое-что, а я вам – кое-что равноценное.

– Неужели, чтобы продать тенниски, их непременно надо носить, сынок? – полюбопытствовал старик.

– Мне бы ужасно этого хотелось, сэр!

Старик вздохнул. Спустя минуту, кряхтя, потихоньку, он зашнуровывал тенниски на своих длинных узких ступнях. На фоне черных манжет его делового костюма они смотрелись отстраненно и чуждо. Мистер Сандерсон встал.

– Как они вам? – спросил мальчик.

– Он еще спрашивает, как они мне! Превосходно!

Он собрался присесть.

– Пожалуйста! – Дуглас простер к нему руку. – Мистер Сандерсон, а теперь покачайтесь вперед-назад, попереминайтесь с ноги на ногу, попрыгайте, а я тем временем расскажу вам остальное. Так вот: я даю вам деньги, а вы мне – кроссовки, и я еще остаюсь вам должен один доллар. Но зато, мистер Сандерсон, зато... как только я надену тенниски, знаете, что тогда произойдет?

– Что?

– Бум! Я буду забирать и доставлять ваши посылки, приносить кофе, жечь мусор, бегать на почту, на телеграф, в библиотеку! Каждый миг я буду мелькать туда-сюда, туда-сюда: вы увидите дюжину Дугласов. Только почувствуйте эти тенниски, мистер Сандерсон, видите, каким быстроногим я стану? Со всеми пружинами внутри. Почуяли внутри себя бег? Почуяли, как они захватывают вас? Лишают покоя, не желая, чтобы вы просто стояли на месте? Посмотрите, как быстро я справлюсь с делами, которыми вам неохота заниматься! Вы находитесь в своем прохладном магазине, а я тем временем ношусь взад-вперед по всему городу! Но на самом деле я тут ни при чем, это все они, кроссовки, как угорелые, мчатся по переулкам, срезая углы, и возвращаются обратно! Так-то!

От такого словесного натиска мистер Сандерсон аж разинул рот. Ураган слов подхватил и понес его. Он стал все глубже погружаться в тенниски, шевелить пальцами ног, разминать подошвы ступней и лодыжки. Его тайком, незаметно раскачивало дуновение ветерка из дверного проема. Тенниски беззвучно впечатывались в ковер, утопали, словно в травах джунглей, в суглинке и упругой глине. Он внушительно топнул пяткой, погруженной в дрожжевое тесто, в податливую приветливую почву. По его лицу промчался ураган эмоций, как будто замельтешили бесчисленные разноцветные лампочки. Рот приоткрылся. Медленно-медленно он пере-

стал раскачиваться, голос мальчика стал затухать, и они стояли, уставясь друг на друга в звенящей первозданной тишине.

По разогретому тротуару мимо прошагали несколько пешеходов. Старик и мальчишка так и стояли не шелохнувшись. Мальчуган – сияющий, старик – просветленный.

– Мальчик, – промолвил наконец старик, – а как насчет того, чтобы через пять лет заняться продажей обуви в этом магазине?

– Спасибо, мистер Сандерсон, но я еще не решил, кем хочу стать.

– Ты станешь, кем захочешь, – сказал старик. – Никто тебе не сможет помешать.

Старик легкой походкой прошествовал по магазину до стены, сложенной из десятка тыщ коробок, принес несколько пар мальчику и составил список на листке бумаги, пока тот зашнуровывал свои тенниски, а потом стоял в ожидании.

Старик протянул ему бумажку.

– Сегодня тебе предстоит выполнить с дюжину поручений. Справишься с ними – и мы в расчете. После чего ты свободен.

– Спасибо, мистер Сандерсон! – Дуглас сорвался с места.

– Стой! – вскричал старик.

Дуглас притормозил и обернулся.

Мистер Сандерсон подался вперед.

– Какие ощущения?

Мальчик взглянул на свои ступни, утопающие в глубоких реках, в пшеничных полях и ветрах, которые уже выдували его из города. Он поднял горящие глаза на старика, его губы беззвучно зашевелились.

– Антилопы? – спросил старик, переводя взгляд со своих туфель на кроссовки мальчика. – Газели?

Мальчик задумался, посомневался, ответил отрывистым кивком. И тотчас пропал. Зашептал, крутанулся – и исчез. Шелест кроссовок растворился в зное джунглей.

Мистер Сандерсон так и остался стоять в залитом солнцем дверном проеме, прислушиваясь. Он вспомнил этот шелест из далекого прошлого и мальчишеских мечтаний. Прекрасные создания взлетают до небес, пронизывают чащобу под кронами деревьев, оставляя после себя лишь неуловимое эхо.

– Антилопы, – подтвердил мистер Сандерсон. – Газели.

Он нагнулся, чтобы подобрать брошенные зимние ботинки мальчика, отягощенные ливнями и давно стаявшими снегами. Уходя от раскаленного солнца, ступая легко и плавно, он не спеша вернулся в лоно цивилизации...

V

Дуглас достал пятицентовый блокнот с желтыми листами и желтый карандаш «Тикондерога». Он открыл блокнот и лизнул грифель.

– Том, – сказал он, – ты со своей статистикой подсказал мне одну мысль. Я решил делать то же самое. Буду следить за событиями. Например, тебе не приходило в голову, что каждое божье лето мы делаем то же, что и в прошедшее?

– Например, Дуг?

– Ну, скажем, делаем вино из одуванчиков, покупаем новые кроссовки, запускаем первый фейерверк в году, готовим лимонад, занозим себе ноги, собираем лисий виноград. Каждый год – одно и то же. Никаких перемен, никакой разницы. Это тебе первая половина лета, Том.

– А что во второй половине?

– То, что происходит впервые в жизни.

– Например, когда попробуешь маслин?

– Гораздо важнее. Например, оказывается, что дедушка и папа знают далеко не все на свете.

– Они знают все, что нужно знать, заруби себе на носу!

– Том, не спорь. Это уже записано у меня в графе «Открытия и откровения». Они знают не все. И ничего в этом плохого нет. Это я тоже выяснил.

– Какая еще новая бредятинка пришла тебе в голову?

– Я живу.

– Тоже мне новость!

– Когда начинаешь над этим задумываться, обращать на это внимание – вот что ново. Мы делаем что-то, сами того не замечая. Потом вдруг, на тебе, смотришь, а это и впрямь впервые! Я поделю лето на две половины. Первая озаглавлена «Обряды и обычаи». Первая в году шипучка. Первая пробежка босиком по траве. Первый раз чуть не утоп в озере. Первый арбуз. Первый комар. Первый урожай одуванчиков. Все это мы делаем, даже не замечая. А в конце блокнота, как я уже сказал, «Открытия и откровения», а может, «Озарения» – вот отличное словечко. Или «Предчувствия», годится? Короче, ты занимаешься каким-нибудь привычным делом, скажем, разливаешь по бутылкам вино из одуванчиков, а потом вписываешь это в графу «Обряды и обычаи». Потом ты задумываешься об этом и все свои мысли, неважно, бредовые или нет, записываешь в графу «Открытия и откровения». Вот что у меня написано про вино: «Каждый раз, когда ты разливаешь его в бутылки, ты сохраняешь целый кусок лета тысяча девятьсот двадцать восьмого года». Что скажешь, Том?

– Я уже запутался.

– Тогда я прочитаю тебе другую запись в начале блокнота – «Обряды». Вот: «Первые пререкания с папой и взбучка летом тысяча девятьсот двадцать восьмого года, утром двадцать четвертого июня». А в конце блокнота в разделе «Откровения» я записал: «Взрослые не ладят с детьми, потому что они из разного рода-племени. Взгляни на них – они от нас отличаются. Взгляни на нас – мы отличаемся от них. Чуждые расы: «и вместе им не сойтись»⁵. Намотай себе на ус, Том!

– В самую точку, Дуг, прямо в яблочко! Так оно и есть! Вот почему мы не ладим с мамой и папой. С этими родителями с утра до вечера одна морока. Да ты просто гений!

– Если за три месяца заметишь что-то такое, что повторяется, дай мне знать. Подумай и скажи. Ко Дню труда мы подведем итоги лета и посмотрим, что получится.

⁵ Двенадцатилетний Дуглас цитирует «Балладу о Востоке и Западе» Р. Киплинга: «Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet».

– У меня тут для тебя припасена кое-какая статистика. Бери карандаш, Дуг. Во всем мире растут пять миллиардов деревьев. Я заглядывал в справочник. Под каждым деревом – тень. Так? Откуда, значит, берется ночь? Так вот, я тебе скажу: тени выползают из-под пяти миллиардов деревьев! Подумать только! Тени носятся в воздухе и мутят воду, так сказать. Если бы мы придумали, как попридержать эти тени под пятью миллиардами деревьев, мы могли бы полночи не спать, Дуг, потому что никакой ночи не было бы в помине! Вот тебе, пожалуйста, что-то старое, что-то новое.

– Да уж, хватает и старого, и нового. – Дуглас лизнул желтый карандаш «Тикондерога», название которого ему ужасно нравилось. – Повтори-ка еще разок!

– Под пятью миллиардами деревьев лежат тени...

VI⁶

Да, лето – пора обрядов, и у каждого – свое законное время и место. Обряд приготовления лимонада и ледяного чая, обряд вина, обряд приобретения или неприобретения туфель и, наконец, следом за остальными, исполненный чувства молчаливого достоинства – обряд подвешивания качелей на веранде.

На третий день лета, под вечер, дедушка в очередной раз вышел из передней двери, чтобы окинуть безмятежным взглядом два пустых кольца в потолке веранды. Подойдя к ограждению веранды, увешанному горшками с геранью, подобно капитану Ахаву, наблюдающему за погожим днем и ясным небом, он послунил палец, чтобы поймать ветер, и снял пиджак, чтобы почувствовать, каково ему будет в коротких рукавах в предзакатные часы. Он ответил на приветствия других капитанов на соседних верандах с цветами, которые тоже вышли разведать, не предвидится ли каких незначительных перемен погоды, не обращая внимания на щебетание своих женушек или их возгласы, напоминавшие возмущение мохнатых болонок, которые прячутся за черными сетками веранд.

– Годится, Дуглас, давай их прилаживать.

В гараже они нашли, почистили от пыли и вытащили наружу «паланкин» для нешумных празднеств летними вечерами – качели, которые дедушка подвесил на цепях к кольцам в потолке.

Дугласу, как более легонькому по весу, довелось испытать качели первым. Затем к нему дедушка осторожно добавил свой патриарший вес. Так они и сидели, улыбаясь и кивая друг другу, тихо раскачиваясь взад-вперед, взад-вперед.

Спустя десять минут появилась бабушка с ведрами воды и метлами – подмести и помыть полы на веранде. Из дома были призваны на службу кресла, качалки и стулья с прямыми спинками.

– Посиделки на веранде нужно начинать в самом начале лета, – изрек дедушка, – пока комары не донимают.

Около семи, если встать у окна гостиной, послышится скрежет стульев, отодвигаемых от столов. Кто-то пытается тренькать на пианино с пожелтевшими клавишами. Чиркают спички, первые тарелки попадают с бульканьем в пенистую воду и, звякая, занимают свои места на стенных стеллажах, откуда-то слабо доносятся звуки патефона. А затем, когда наступает другой вечерний час, на сумеречных улицах, то у одного, то у другого дома, под сенью гигантских дубов и вязов, на тенистые веранды выходят люди, словно фигурки на часах, предсказывающие хорошую или плохую погоду.

Дядюшка Берт, а может, дедушка, потом папа и кое-кто из кузенов; сначала выходят все мужчины навстречу сладостному вечеру, в клубах дыма, оставляя позади женские голоски в остывающей теплой кухне наводить порядок в своем мирке. Потом слышатся первые мужские голоса под навесом веранды, ноги задраны вверх, мальчишки облепили истертые ступеньки или деревянные перила, с которых за вечер обязательно плюхнется либо мальчишка, либо горшок с геранью.

Наконец, подобно призракам, маячащим за дверной сеткой, появляются бабушка, прабабушка и мама, и мужчины придут в движение, встанут, уступая место. Женщины обмахиваются разнообразными веерами, сложенными газетами, бамбуковыми венчиками или надушенными платками и ведут беседы.

На следующий день никто не помнил, о чем они толковали весь вечер. Никого не интересовало, о чем говорили взрослые; главное, что их голоса плыли поверх нежных папоротни-

⁶ Рассказ Р. Брэдбери «Сезон посиделок» («The Season of Sitting», «Charm», August 1951).

ков, окаймлявших веранду с трех сторон. Главное, чтобы темнота наполнила город, как черная вода, разлитая над домами, чтобы сигары тлели, общение не смолкало. Дамские сплетни расстрожили первых комаров, и они неистово отплясывали в воздухе. Мужской говор проникал в древесину старого дома. Если закрыть глаза и прижаться ухом к половицам, можно принять его гул за рокот далеких политических потрясений, то нарастающий, то угасающий.

Дуглас откинулся на сухие доски веранды, всецело довольный и обнадеженный этими разговорами, которые будут звучать целую вечность, зажурчат над ним, над его смеженными веками, в его сонные уши. Кресла-качалки стрекотали, как сверчки, сверчки стрекотали, как кресла-качалки, а замшелая бочка с дождевой водой возле окна гостиной служила питомником очередному поколению мошкары и темой для пересудов аж до конца лета.

Посиделки на веранде летними вечерами доставляли такое удовольствие, блаженство и умиротворение, что от них ни в коем случае невозможно было отказаться. Это был строгий и незыблемый обычай. Раскуривание трубок, вязальные иглы в бледных пальцах, поглощение холодного, обернутого в фольгу эскимо, хождение всякого люда взад-вперед в сумерках. Ведь по вечерам все гостили друг у друга. Соседи поодаль и соседи напротив. Мисс Ферн и мисс Роберта могли прожужжать мимо в своем электрическом экипаже, прокатить Тома или Дугласа по кварталу, а потом посидеть со всеми, прогоняя веерами волнение с покрасневших щек. Или, оставив лошадь и фургон в переулке, по ступенькам мог подняться старьевщик мистер Джонас, готовый разразиться словесами, выглядевший свежо, словно он ни разу еще не выступал со своими речами, что, впрочем, так и было. Наконец, все-все дети, игравшие последний кон в прятки или «выбей банку», разгоряченные, тяжело дыша, тихо приземлялись, как бумеранги, на притихшую лужайку, на которой приходили в себя и успокаивались под непрерывный гомон голосов с веранды...

О, какое наслаждение возлежать в травянистой папоротниковой ночи шелестящих, убаюкивающих голосов, сплетающих тьму. Дуглас прикидал к земле так тихо и неподвижно, что взрослые забывали о его присутствии и строили планы на его и свое будущее. Голоса звучали нараспев, плыли в клубах сигаретного дыма, пронизанных лунным светом, как оживший запоздалый яблоневый цвет, как мотыльки, постукивающие в уличные фонари, и продолжали звучать, уходя в грядущие годы.

VII

Перед табачным магазином в тот вечер собрались люди, чтобы жечь дирижабли, топить линкоры, взрывать динамит и отведать своим фарфоровым ртом бактерий, которые в один прекрасный день их прикончат. Смертоносные тучи, что маячили в их сигарном дыму, обволакивали сумрачный силуэт некоего взвинченного человека, который прислушивался к лязгу совков и лопат и настроениям вроде «прах к праху, пепел к пеплу»⁷. Этот силуэт принадлежал городскому ювелиру Лео Ауфману, который, расширив водянистые темные глаза, наконец всплеснул своими детскими руками и исторг возглас отчаяния:

– Довольно! Ради всего святого, вылезайте из этого кладбища!

– Лео, как же вы правы, – сказал дедушка Сполдинг, вышедший на вечернюю прогулку с внуками Дугласом и Томом. – Но знаете, Лео, только вы способны заставить замолчать этих провозвестников конца света. Придумайте что-нибудь этакое, что сделает будущее светлым, гармоничным, бесконечно радостным. Вы же изобретаете велосипеды, починяете игральные автоматы, работаете нашим городским киномехаником!

– Точно! – подхватил Дуглас. – Изобретите для нас машину счастья!

Все засмеялись.

– Прекратите, – перебил их Лео Ауфман. – Для чего мы до сих пор использовали машины? Чтобы причинять людям горе! Именно! Всякий раз, когда кажется, что человек и машина наконец поладят, как – ба-бах! Кто-нибудь присобачит какую-нибудь загогулину, и на тебе – аэропланы мечут бомбы, автомобили летят вместе с нами с утесов. Так неужели просьба мальчика неуместна? Нет! И еще раз нет!

Голос Лео Ауфмана затихал по мере того, как он шел к бордюру, чтобы погладить свой велосипед, словно живое существо.

– Что я теряю? – бормотал он. – Немного ободранной с пальцев кожи? Немного сна? Несколько фунтов металла? Справлюсь, с божьей помощью!

– Лео, – вмешался дедушка, – мы не хотели...

Но Лео Ауфман уехал, крутя педали в теплой летней ночи. До них доносился его голос:

– Я справлюсь...

– Справится, как пить дать, – восхитился Том.

⁷ Бытие, 3:19.

VIII⁸

Когда Лео Ауфман катил на велосипеде по кирпичным мостовым, можно было заметить, что он получает удовольствие от сломанного чертополоха в горячей траве, когда ветер дул как из печки, или от проводов, искрящихся на мокрых столбах. Бессонными ночами он не страдал, а получал удовольствие от размышлений о великих вселенских часах: кончается ли в них завод или они самозаводятся. Как знать! Но, прислушиваясь по ночам, он приходил то к одному выводу, то к противоположному...

«Удары судьбы, – думал он, крутя педали, – что они из себя представляют? Рождение, взросление, старение, смерть. С первым ничего не поделаешь, а с остальными тремя?»

Колеса его Машины счастья вращались, отбрасывая снопы золотистого света на потолок. Машине суждено помочь мальчишкам сменить пушок на щетину, а девочкам превратиться из гадких утят в лебедушек. А в годы, когда твоя тень ложится на землю, когда ты прикован к постели и по ночам твое сердце бешено колотится, его изобретение поможет тебе легко уснуть под листопадом, подобно мальчишкам, которые, прыгая осенью в груды жухлых листьев, согласны стать частью тлена и смерти в этом мире...

– Папа!

Шестеро его детей: Саул, Маршалл, Иосиф, Ребекка, Руфь и Наоми, от пяти до пятнадцати лет от роду, – пробежали через лужайку за его велосипедом, и каждый коснулся его.

– Мы тебя заждались. У нас есть мороженое.

Шагая к веранде, он угадывал улыбку жены, сидящей в темноте.

Пять минут поедания миновали в уютной тишине, затем, держа полную ложку мороженого лунного оттенка, словно тайну Вселенной, которую следовало бережно познать, он спросил:

– Лина? Что бы ты сказала, если бы я взялся за изобретение Машины счастья?

– Что-то стряслось? – мгновенно отреагировала она.

* * *

Дедушка шел домой с Дугласом и Томом. На полпути Чарли Вудмен, Джон Хафф и еще какие-то мальчишки промчались мимо, как метеорный рой. Их притяжение было так сильно, что они оторвали Дугласа от дедушки и Тома и увлекли его в сторону оврага.

– Смотри не заблудись, сынок!

– Нет... нет...

Мальчишки нырнули во тьму.

Том и дедушка прошли оставшуюся часть пути молча, разве что когда они оказались дома, Том сказал:

– Ух ты, Машина счастья – вот это да!

– Не очень-то обольщайся на сей счет, – посоветовал дедушка.

Часы на здании суда пробили восемь.

⁸ Рассказ Р. Брэдбери «Машина счастья» («The Happiness Machine», «Saturday Evening Post», September 14, 1957).

IX⁹

Часы на здании суда пробили девять, становилось поздно, настоящая ночь опускалась на крохотную улочку маленького города в большом штате на огромном континенте планеты Земля, падающей в воронку космоса навстречу ничему или чему-то, и Том ощущал каждую милю этого грандиозного падения. Он сидел возле москитной сетки, всматриваясь в несущуюся на него черноту, которая выглядела вполне безобидно, словно неподвижно застыла. Только когда закроешь глаза и ляжешь, почувствуешь круговорот Вселенной под твоей кроватью, и уши зальет море черноты, которое подступило и разбивается о скалы, которых нет.

Запахло дождем. У Тома за спиной мама занималась глажкой и брызгала водой из бутылки с пробкой на потрескивающую одежду.

В соседнем квартале все еще работал магазин миссис Зингер.

Наконец, незадолго до того, как магазину миссис Зингер пришла пора закрываться, мама смилостивилась и сказала Тому:

– Сбегай, принеси пинту мороженого, да скажи ей, чтобы поплотнее утрамбовала.

Он спросил, можно ли полить мороженое шоколадом, потому что не любил ванильное, и мама разрешила. Он сжал в кулачке деньги и побежал босиком в магазин по теплому вечернему цементу тротуара, под сенью яблонь и дубов. В городе царила такая тишина и отстраненность, что слышен был только стрекот сверчков в пространствах за теплыми иссиня-черными деревьями, подпиравшими звездное небо.

Его голые пятки шлепали по мостовой. Он перебежал улицу и нашел миссис Зингер, неуклюже передвигавшуюся по магазину, напевая мелодии на идише.

– Пинту мороженого и полить шоколадом? – спросила она. – Готово!

Он наблюдал, как она неловко обращается с металлической крышкой ледника для мороженого, с мерной ложкой, битком набивая картонную коробку. Он протянул ей деньги, получил ледяную коробку и, обтирая ею лоб и щеки, хохоча, пошлепал босиком домой. У него за спиной выключились огни магазина, и только уличный фонарь мигал на углу, а весь город, казалось, готовился отходить ко сну.

Открыв москитную сетку, он обнаружил маму по-прежнему за глажкой. Она выглядела разгоряченной и раздраженной, но все равно улыбалась.

– Когда же папа вернется с собрания ложе¹⁰? – спросил он.

– В одиннадцать, в половине двенадцатого, – ответила мама.

Она отнесла мороженое на кухню, выделила ему особую порцию шоколада, взяла себе, а остальное убрала.

– Дугласу и папе, когда придут.

Они наслаждались мороженым посреди глубокой летней ночи. Мама, он и ночь вокруг их домика на маленькой улице. Он тщательно облизывал каждую ложку мороженого, прежде чем взять новую порцию, а мама отодвинула гладильную доску, оставила раскаленный утюг остывать на открытом месте, устроилась в кресле возле патефона, поедая свой десерт, и сказала:

– Боже мой, знойный же выдался сегодня денек. Земля впитывает все тепло, а ночью возвращает. Спать будем, обливаясь потом.

Они прислушивались к ночи, подавленные каждым окном, дверью и полной тишиной, потому что батарейка в радиоприемнике подседа, а все пластинки – «Квартет Никербокер», Эл Джолсон и «Две черные вороны» – были заезжены донельзя. Поэтому Том сидел на доща-

⁹ Рассказ Р. Брэдбери «Ночь» («The Night» «Weird Tales», July 1946).

¹⁰ Предположительно речь о масонской ложе ритуала «Одд Феллоуз».

том полу и смотрел во тьму, расплющив нос о сетку, пока кончик носа не оказался испещрен крошечными темными квадратиками.

– Куда это Дуг запропастился? Уже почти половина десятого.

– Придет, – сказал Том, зная наверняка, что так и будет.

Он пошел вслед за мамой мыть посуду. Каждый звук, звон ложки, тарелки усиливался в раскаленной ночи. Они молча пошли в гостиную, сняли подушки с дивана-кровати, вместе превратили его в двуспальную кровать, которой она втайне и была. Мама постелила постель, аккуратно взбила подушки, чтобы голове было мягко. Затем, когда он уже расстегивал рубашку, мама сказала:

– Подожди, Том.

– Зачем?

– Так надо.

– Станный у тебя вид, мама.

Мама присела на мгновение, потом встала, подошла к окну и позвала. Он слушал, как она опять и опять зовет и зовет:

– Дуглас, Дуглас, ах, Дуг! Дуууглаас!

Ее зов уплывал в теплую летнюю тьму и не возвращался. Эхо оставалось безучастным.

Дуглас. Дуглас. Дуглас.

Дуглас!

Он сел на пол, и холодок, пробежавший по Тому, не был сродни мороженому, зиме, летней жаре. Он заметил, что мама помаргивает. Ее фигура выражала нерешительность, волнение. И все такое прочее.

Она отворила москитную сетку. Выйдя навстречу ночи, она спустилась по ступенькам и вышла на тротуар под кустом сирени. Он прислушивался к ее шагам.

Она снова позвала.

Тишина.

Она позвала еще два раза. Том сидел в комнате. В любой момент Дуглас откликнется с того конца длинной узкой улицы:

– Мама, все в порядке! Мама! Мама!

Но он не откликнулся. Две минуты Том сидел, глядя на приготовленную постель, на тихшее радио, молчащий патефон, на люстру с тихо светящимися хрустальными веретенами, на ковер с алыми и лиловыми завитками. Он пнул пальцем ноги кровать, нарочно, посмотреть, будет ли больно. Было больно.

Открываясь, москитная сетка застонала, и мама сказала:

– Том, давай пройдемся.

– Куда?

– По кварталу. Пошли.

Он взял ее за руку. Вместе они прошли Сент-Джемс-стрит. Бетон под ногами был все еще теплым, и сверчки стрекотали громче в темнеющей тьме. Они дошли до угла, повернули и зашагали к Западному оврагу.

Где-то вдали, сверкнув фарами, проплыл автомобиль. Вокруг царили полнейшая безжизненность, крошечная тьма и оцепенение. Позади то тут, то там, где еще не спали, маячили квадратик света. Но в большинстве домов уже погасили свет и уснули, оставались несколько затемненных мест, где обитатели жилищ вели приглушенные ночные разговоры на верандах. Проходя мимо, можно было услышать скрип качелей.

– Где же твой папа? – сказала мама.

Ее большая рука сжала его маленькую руку.

– Ох и устрою я взбучку этому мальчишке! Неприкаянный опять рыщет по округе, убивает людей. Никто уже не чувствует себя в безопасности. Черт его знает, этого Неприкаянного,

когда он объявится или где. Пусть только Дуг доберется до дому, я его до полусмерти исколошмачу.

Они прошагали еще один квартал и стояли возле черных очертаний немецкой баптистской церкви на углу Чепел-стрит и Глен-Рока. За церковью, в сотне ярдов, начинался овраг. Он учуял его запах – вонь канализации, прелой листвы и зеленой плесени. Широкий извилистый овраг рассекал город. Днем он был джунглями, а ночью его следовало обходить стороной, как частенько говаривала мама.

Близость немецкой баптистской церкви отнюдь не вселяла в него уверенность, потому что здание было темным, холодным и бесполезным, как груда развалин на краю оврага.

Ему минуло десять лет. Он мало знал о смерти, ужасе или страхе. Смерть для него олицетворяла восковая фигура в гробу, когда ему было шесть лет и скончался прадедушка, похожий на большого павшего грифа, тихий, отстраненный, больше не призывающий его быть послушным мальчиком, больше не отпускающий метких замечаний о политике. Смерть – это его маленькая сестренка однажды утром, когда ему было семь лет; он проснулся, заглянул в ее колыбельку и увидел взгляд ее слепых, остекленевших голубых глаз. Потом пришли мужчины с плетеной корзинкой и унесли ее. Смерть – это ее высокое детское кресло, когда он стоял рядом спустя четыре недели и вдруг осознал, что она никогда уже не будет в нем сидеть, смеяться и плакать и вызывать в нем ревность своим появлением на свет. Вот чем была смерть. А еще смертью был Неприкаянный, невидимка, гуляющий или стоящий за деревьями, выжидающий где-то за городом, чтобы нагрянуть один или два раза в году в город, на эти улицы, в неосвещенные места, чтобы убить одну, две, три женщины за последние три года. Вот что значила для него смерть...

Но это было больше, чем смерть. Эта бездонная звездная летняя ночь воплощала все, что ты когда-либо ощутишь, увидишь или услышишь в своей жизни, все сразу.

Сойдя с тротуара, они стали на проторенную каменистую тропу, окаймленную травами, и сверчки хором врубили на полную мощь свою барабанную дробь. Он покорно шел следом за смелой, изящной, высокой мамой – заступницей Вселенной. Вместе они достигли последнего рубежа цивилизации и остановились.

Овраг.

Вот на дне этого провала с тягучей чернотой неожиданным образом оказалось все, что ему не суждено было ни познать, ни постичь; всё, чему не было ни имени, ни прозвания, обитало в тени скученных деревьев среди запахов тлена и разложения.

Он понял, что они с мамой остались одни.

Ее рука дрожала.

Он ощущал ее дрожание... Почему? Ведь она крупнее, сильнее, умнее, чем он. Неужели и она чуяла неосознанное зло, выпускающее щупальца из тьмы, стелющееся по земле? Значит, взросление не делает человека сильнее? Нет утешения во взрослении? Нет в жизни убежища? Нет прочной плотской твердыни, способной выстоять перед ночью? Его обуревали сомнения. Мороженое опять ожило у него в горле, в желудке, спине и ногах-руках; его мгновенно сковал декабрьский холод.

Он понял: все люди такие, каждый сам по себе, один-одинешенек. Единица общества, но в постоянном страхе. Как сейчас. Если ему нужно будет закричать, возопить о помощи, какой от этого толк?

Чернота могла свалиться мигом и заглотить; в одно леденящее мгновение все будет кончено. Задолго до рассвета, задолго до того, как полиция придет и начнет тыкать лучами фонариков в темноту растревоженной тропы, задолго до того, как люди с дрожащими мозгами спустятся по галечнику на подмогу. Даже если они находятся в пяти сотнях ярдов и помощь придет *наверняка*, черная волна в три секунды вздыбится и отберет все десять лет его жизни и...

Воздействие одиночества в жизни раздавило его начинающее трепетать тело. Мама тоже одинока. Она не может надеяться на святость брака, на защиту семьи, на Конституцию Соединенных Штатов или городскую полицию. В сей миг она не могла возложить надежду ни на что, кроме своего сердца, но там она ничего не найдет, кроме безудержного отвращения и желания бояться. В тот момент это была отдельная задача, требующая отдельного решения. Отныне он должен смириться со своим одиночеством.

Он сглотнул слюну и схватился за маму. «Боже, не дай ей умереть, умоляю тебя, – думал он. – Не причиняй нам зла. Папа возвращается с собрания логи через час, и если дома будет пусто...»

Мама спускалась по тропе в чащу первозданных джунглей. Его голос дрожал.

– Мама, с Дугом все в порядке, все в порядке. С ним все хорошо, все хорошо!

Мамин взволнованный голос срывался на высокие нотки.

– Вечно он ходит по этой дороге. Я ему говорю, чтоб не ходил, но эти сорванцы, черт бы их побрал, все равно ходят. Вот так один раз пойдет и уже не вернется...

Уже не вернется. Все возможно. Бродяги. Преступники. Тьма. Несчастный случай. Смерть!

Одиночество во вселенной.

По всему свету миллионы таких маленьких городов. Каждый такой же темный, одинокий, отстраненный, исполненный содрогания и изумления. Пронзительное пиликанье на скрипках в миноре считалось в маленьких городах музыкой, света нет, зато изобилие теней. Ох уж это их беспросветное одиночество. Их таинственные сырые овраги. Ночью жизнь в них превращалась в кошмар, когда отовсюду здравый смысл, супружеские узы, дети и счастье подвергались угрозам людоеда, имя которому – Смерть.

Мама позвала в темноте:

– Дуг! Дуглас!

Вдруг они оба поняли – что-то не так.

Сверчки прекратили стрекотать. Полная тишина.

Никогда еще в своей жизни не слышал он такой полнейшей тишины. С какой стати замолчали сверчки? Зачем? Почему? Они же никогда раньше не умолкали.

Если только. Если только...

Не суждено было чему-то случиться.

Казалось, весь овраг напрягся, собрал в пучок свои черные фибры, отбирая энергию у окрестных полей на мили вокруг. Из увлажненного росой леса и лощин, с холмов, где псы задирали головы на луну, отовсюду великая тишь всасывалась в один центр, и они стояли в самом его сердце. Что-то произойдет, что-то произойдет через десяток секунд. Сверчки соблюдали перемирие, звезды висели так низко, что можно было ухватить их за хвосты. Они роились, раскаленные и острые.

Нарастала, нарастала тишина. Нарастало, нарастало напряжение. До чего же темно и далеко от всего. О боже!

И тут далеко-далеко по ту сторону оврага:

– Мама! Я иду! Мама! Все в порядке!

И снова:

– Мама, это я! Я иду! Мама!

Потом через провал оврага донесся еле слышный бег теннисных туфель, принадлежавших трем несущимся и смеющимся мальчишкам – его брату Дугласу, Чаку Вудмену и Джону Хаффу. Они бежали и гоготали...

Звезды исчезли, как ужаленные рожки десятка миллионов улиток.

Сверчки запели!

Тьма отпрянула назад от неожиданности, возмущения и гнева. Отшатнулась, потеряв аппетит от бесцеремонного обращения в тот самый момент, когда она собиралась покормиться. Стоило тьме откатиться, словно волне, как из темноты вынырнули трое хохочущих мальчуганов.

– Привет, мам! Привет, Том! Эге-гей!

Дуглас пропах ароматами пота, травы, деревьев, ветвей и ручья.

– Молодой человек, тебя ожидает порка, – объявила мама.

Она мгновенно отбросила свой страх. Том знал, что она ни за что никому об этом не расскажет. Но страх поселится в ее сердце, впрочем, как и в его сердце, навсегда.

Они шли домой спать поздней летней ночью. Он радовался, что Дуглас жив. Очень радовался. На какое-то мгновение он подумал...

* * *

Далеко в сумрачной, залитой лунным светом местности за виадуком, в долине, несся свистящий поезд, словно потерянная железяка, без названия. Том лежал в постели рядом с братом, его колотил озноб. Он прислушивался к паровозным гудкам и думал о кузене, жившем далеко-далеко, там, где мчался поезд; о кузене, умершем поздней ночью от воспаления легких много лет назад...

Он учуял запах пота, исходивший от лежавшего рядом Дуга. Мистика. Том перестал дрожать.

– Я знаю наверняка только две вещи, Дуг, – прошептал он.

– Какие?

– Ночью жутко темно – это раз.

– А два?

– Овраг ночью не имеет ничего общего с Машиной счастья мистера Ауфмана, даже если он ее когда-нибудь построит.

Дуглас поразмыслил над сказанным.

– Можешь повторить?

Они перестали говорить. Прислушавшись, они вдруг слышали шаги со стороны улицы под деревьями, напротив их дома, на тротуаре. Из своей постели мама тихо сказала:

– Это папа.

Так и оказалось.

Х

Поздней ночью на веранде Лео Ауфман составлял список, которого не было видно в темноте, восклицая при этом:

– Ах!

Или, когда ему удавалось сделать удачную находку:

– А вот еще!

Затем москитная сетка издала неслышный шорох мотылька.

– Лина? – прошептал он.

Она сидела рядом с ним на качелях в ночной рубашке, не такая стройная, как девушки в семнадцать, когда их еще не любят, и не такая полная, как женщины в пятьдесят, когда их уже не любят, а совершенно идеальная: округлая, упругая, то есть ровно такая, какой женщина становится в любом возрасте, когда любят, без сомнений.

Она была восхитительна. Ее тело, как и его тело, всегда думало за нее, но иначе, вылепливая детей, или забегало вперед него в любую комнату, чтобы сменить атмосферу в соответствии с его настроением. Казалось, она никогда не задумывалась надолго; ее мысли и дела перетекали из головы к рукам и обратно настолько естественно и плавно, что он даже не задумывался и не смог бы изобразить на схеме.

– Эта машина, – промолвила она наконец, – ...нам ни к чему.

– Ни к чему, – сказал он, – но иногда приходится мастерить для других. Я тут думал, что бы в нее заложить. Кино? Радио? Стереоскоп? Все в одном месте, чтобы любой мог провести по ней рукой и сказать с улыбкой: «Да, это и есть счастье».

«Да, – думал он, – построить машину, которая вопреки промокшим ногам, насморку, постелям всмятку и монстрам, терзающим твою душу в три ночи, будет вырабатывать счастье, как волшебная соляная мельница, брошенная в море, вечно вырабатывающая соль и превратившая море в рассол. Кто бы не стал утруждать свою душу, дабы изобрести такую машину?» – спрашивал он у всего мира, у города, у своей жены!

На качелях рядом с ним напряженное молчание Лины было равносильно вынесенному суждению.

Умолкнув и откинув голову, он прислушивался к шелесту листвы вязов на ветру, над головой.

«Не забудь заложить в машину и этот шелест», – сказал он сам себе.

Спустя минуту качели в темноте веранды опустели.

XI¹¹

Во сне дедушка улыбался.

Чуя улыбку и недоумевая, откуда она взялась, он пробудился. Он тихо лежал и прислушивался. И объяснение нашлось.

Ибо он услышал звук куда важнее, чем щебетание птиц или шелест свежей листвы. Один раз в год он просыпался и лежал, дожидаясь звука, означавшего официальное начало лета. И оно начиналось таким вот утром, когда постоялец, племянник, кузен, сын или внук выходил на лужайку и с лязгом крутящегося железа сквозь душистую летнюю травку выкашивал постепенно уменьшающиеся прямоугольники к северу и востоку, югу и западу. Цветки клевера, несколько нескошенных пучков одуванчика, муравьи, палки, галька, остатки петард и мусора с прошлогоднего Дня Независимости, но главным образом чистая зелень. Из-под тарахтящей косилки вздымался фонтан. Прохладный ласковый фонтан, щекочущий его ноги, брызжущий в его теплое лицо, наполнявший ноздри извечным ароматом начала нового времени, – залог того, что да, черт возьми, проживем еще двенадцать месяцев!

Господь, благослови газонокосилку, подумал он. Какому глупцу пришло в голову учредить первое января началом Нового года? Нет, следует назначить наблюдателя за травами на бесчисленных лужайках Иллинойса, Огайо и Айовы, и в то утро, когда трава подрастет настолько, что ее можно косить, а не трещать, дуть в рожки и вопить, должна зазвучать великая симфония газонокосилок, пожинающих свежую траву на землях прерий. Вместо конфетти и серпантина следует брызгать друг в друга травой один день в году, который действительно представляет собой Начало!

Он фыркнул на свой собственный трактат, подошел к окну и выглянул на ласковое солнышко, и, конечно же, тут как тут оказался постоялец Форестер, молодой репортер, выстригающий очередную полосу.

– Доброе утро, мистер Сполдинг!

– Задай им жару! – задорно крикнул в ответ дедушка и вскоре внизу, поедая бабушкин завтрак, отворил окно, чтобы тарахтение косилки сопровождало его трапезу.

– Эта штука вселяет уверенность, – сказал дедушка. – Эта косилка! Ты только прислушайся к ней!

– Косилки отживают свой век. – Бабушка принесла стопку оладий. – Появилась новая разновидность травы, Билл Форестер будет высевать сегодня утром. Ее не нужно стричь. Не знаю, как называется, но вырастает ровно настолько, насколько нужно, и не длиннее.

Дедушка уставился на нее.

– Не надо так со мной шутить.

– Сходи и посмотри сам. Ради бога, – сказала бабушка. – Это идея Билла Форестера. Новая трава дожидается в брикетах у стены дома. Выкапываешь лунки, высаживаешь в них новую траву. К концу года новая трава вытесняет старую, и ты продаешь косилку.

Дедушка встал со стула, прошагал по комнате и через десять секунд вышел в переднюю дверь.

Билл Форестер оставил косилку и подошел, улыбаясь и шурясь на солнце.

– Так и есть, – сказал он. – Купил ее вчера. Думал, раз я в отпуске, так высажу ее для вас.

– А почему со мной не посоветовались? Это же моя лужайка! – воскликнул дедушка.

– Думал, вам понравится, мистер Сполдинг.

– А мне это совсем не нравится. Ну-ка, дай взглянуть, что за бесовскую траву ты тут мне принес.

¹¹ Рассказ Р. Брэдбери «Летние лужайки» («The Lawns of Summer», «Nation's Business», May 1952).

Они стояли возле небольших брикетов новой травы. Дедушка с подозрением попинал ее носком ботинка.

– Похожа на обычную траву. Ты уверен, что тебе не всучили ее какие-то торговцы лошадьми, поутру, пока ты еще не совсем проснулся?

– Я видел такую траву в Калифорнии. Она вырастает настолько и не выше. Если она выживет в нашем климате, то нам не придется выходить в будущем году раз в неделю и подравнивать ее.

– В этом-то и загвоздка с твоим поколением, – сказал дедушка. – Билл, мне стыдно за тебя, ты же репортер. Все, что нам дано в жизни для наслаждения, ты уничтожаешь. Экономия времени, экономия труда, говоришь ты.

Он презрительно оттолкнул лотки с травой.

– Билл, когда тебе будет столько же, сколько мне, ты поймешь, что маленькие наслаждения и радости важнее больших. Прогулка весенним утром лучше восьмидесятимильной поездки в автомобиле с усиленным мотором. Знаешь почему? Потому что она полна ароматами и привкусами, богата растительностью. Есть время искать и находить. Я понимаю, тебе подавай все эффектное. И я полагаю, это вполне оправданно. Но как молодой сотрудник газеты, ты должен искать и виноград, и арбузы. Ты без ума от скелетов, а я предпочитаю отпечатки пальцев. Что ж, нормально. Сейчас такие вещи навешают на тебя скуку. И я думаю, не оттого ли, что ты не умеешь ими пользоваться? Была бы твоя воля, ты бы принял закон, запрещающий мелкие работы, мелкие вещи. Но тогда ты остался бы не у дел между великими делами, и тебе пришлось бы тратить чертову уйму времени, придумывая, чем бы занять себя, чтобы не сойти с ума. А почему бы не дать природе подсказать тебе пару вещей? Стрижка травы и прополка сорняков тоже могут быть образом жизни, сынок.

Билл Форестер молча улыбался ему.

– Знаю, – сказал дедушка. – Я много говорю.

– Я бы не отдал предпочтение никому другому.

– Лекция продолжается. Сиреневый куст лучше орхидей. А одуванчики и свиной корень еще лучше! Почему? Потому что они заставляют тебя нагнуться и ненадолго отвлекают от всех людей и от города и заставляют попотеть, и ты вспоминаешь, что у тебя есть обоняние. И когда ты таким образом приходишь в себя, то ты действительно ненадолго становишься самим собой. И наедине с самим собой начинаешь задумываться. Садоводство – труднейшая разновидность философии. Никто не гадает, никто не осуждает, никто не знает, но вот ты – Платон среди пионов, Сократ, принудительно выращивающий для себя цикуту. Человек, тянущий мешок с кровяными удобрениями по своей лужайке, сродни Атласу, позволяющему Земле спокойно вертеться у него на плечах. Как говаривал Самуэль Сполдинг-эсквайр, «копай землю, возделывай душу». Крути лезвия косилки, Билл, и ходи в брызгах Фонтана молодости! Лекция окончена. К тому же зелень одуванчика полезно время от времени принимать в пищу.

– Сколько лет вы употребляете одуванчики в пищу, сэр?

– Не будем об этом!

Билл легонько пнул один из пластов дерна с травой и кивнул:

– Так вот, по поводу этой травы. Я не договорил. Она растет так плотно, что не оставляет никаких шансов клеверу и одуванчикам...

– Боже праведный! Значит, в будущем году вину из одуванчиков – конец! Значит, пчелы на наш участок не прилетят! Да ты в своем уме, сынок?! Послушай, во сколько это тебе обошлось?

– Доллар за пласт. Я купил десяток, чтобы сделать сюрприз.

Дедушка полез в карман, достал старинный кошелек с глубокой пастью, разомкнул серебряную застежку и достал три пятидолларовые купюры.

– Билл, ты только что сорвал на этой сделке крупный куш, аж целых пять долларов. Я хочу, чтобы ты отнес эту кучу неромантической травы в овраг, на свалку – куда угодно, только я прошу тебя смиренно и уважительно: не высаживай ее на моем дворе. Твои побуждения – выше всяких похвал, но моим побуждениям, как мне представляется, в силу моего почтенного возраста, должно отдать предпочтение.

– Да, сэр. – Билл нехотя положил купюры в карман.

– Билл, высадишь эту новую траву в какой-нибудь другой год. Когда меня не станет, можешь перепахать к чертовой бабушке хоть всю лужайку. Думаю, ты можешь подождать еще лет пять или около того, пока престарелый оратор не отдаст концы?

– Разумеется, могу, – сказал Билл.

– Что касается косилки, с ней связана совершенно непостижимая вещь, но для меня этот звук – самый прекрасный на свете, свежайший голос времени года, голос лета, и если он исчезнет, я буду ужасно тосковать и буду скучать по аромату скошенной травы.

Билл нагнулся и подобрал один пласт.

– Итак, я направляюсь к оврагу.

– Ты добрый, понимающий молодой человек, из тебя выйдет блестящий и отзывчивый репортер, – сказал дедушка, помогая ему. – Это я тебе предсказываю.

* * *

Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка удалился почитать Уиттьера¹² и поспать. Когда он проснулся в три часа дня, яркий ободряющий солнечный свет лился сквозь окна. Он лежал в постели и неожиданно услышал старый знакомый незабываемый звук.

– Э, – сказал он, – кто-то запустил газонокосилку! Но лужайку утром уже постригли!

Он снова прислушался. Действительно. Непрерывная, монотонно нарастающая-спадающая трескотня.

Он выглянул из окна и изумился.

– Да это же Билл. Билл Форестер, ты часом не перегрелся на солнышке? Ты же косишь лужайку по новой!

Билл взглянул вверх, белозубо улыбнулся и помахал рукой.

– Я знаю! Просто я пропустил кое-какие участки!

Дедушка еще минут пять лежал в постели, довольно улыбаясь: Билл Форестер косил лужайку на север, затем на запад, на юг, и, наконец, трава вырывалась из косилки великолепным искрящимся фонтаном зелени – на восток.

¹² Джон Г. Уиттьер (John Greenleaf Whittier) (1807–1892) – американский поэт и abolitionист.

XII

В воскресное утро Лео Ауфман медленно прохаживался по гаражу в надежде, что какой-нибудь обрезок дерева, моток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнут и возопят:

– Начни с меня!

Он задавался вопросом:

«Может, Машина счастья должна уместиться в твоём кармане?»

«Или же, – продолжал он размышлять, – она сама должна носить тебя в своём кармане?»

– Одно я знаю наверняка, – произнес он вслух, – она должна быть яркой!

Он поставил в центре верстака банку с оранжевой краской, взял словарь и забрел в дом.

– Лина?

Он заглянул в словарь.

– Ты «довольна, удовлетворена, радостна, счастлива»? Ты считаешь себя «везучей, удачливой»? Все ли складывается для тебя «разумно и приемлемо», «успешно и благополучно»?

Лина перестала нарезать овощи и закрыла глаза.

– Прочитай, пожалуйста, еще раз, – попросила она.

Он хлопнул книгу.

– Чтобы сделать как я, тебе придется задуматься на час, прежде чем ты мне ответишь. Я же прошу простого ответа: да или нет. Ты довольна, радостна, восхищена?

– Это коровы бывают довольными, а дети и старики, впавшие в детство, – счастливыми, помоги им Господь, – сказала она. – Что до радости, Лео. Посмотри, как я веселюсь, выскабливая раковину...

Он пристально посмотрел на нее, и его лицо прояснилось.

– Лина, это правда. Люди не ценят. Через месяц, может быть, мы уедем.

– Я не жалею! – вскричала она. – Я не из тех, кто приходит со списком, где написано «покажите язык». Лео, ты же не спрашиваешь, отчего сердце бьется всю ночь? Нет! Дальше ты спросишь, что такое брак? Кто знает, Лео? Не надо спрашивать. Тот, кто рассуждает, как это работает, как это устроено, срывается с трапеции в цирке, задыхается, пытаясь разобраться в работе мышц горла. Ешь, спи, дыши, Лео, и перестань пялиться на меня, словно я новость в этом доме!

Лина Ауфман замерла. Повела носом.

– О, боже! Вот что ты наделал!

Она рванула на себя дверцу духовки. Кухня утонула в облаке дыма.

– Счастье! – запричитала она. – И впервые за шесть месяцев мы ссоримся! Счастье, и впервые за двадцать лет у нас на ужин вместо хлеба – уголья!

Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана след простыл.

* * *

Внушающий страх лязг, столкновение человека и вдохновения, круговерть металла, древесины, молотков, гвоздей, угольников, отверток длились много дней. Временами, отчаявшись, Лео Ауфман слонялся по улицам, издерганный, встревоженный, вздрагивающий от далеких раскатов смеха, подслушивал детские шуточки, наблюдал, что вызывало у них улыбку. Вечерами он сживал на переполненных соседских верандах, внимая тому, как старики судят и рдят о жизни, и при каждом взрыве веселья Лео Ауфман оживлялся, словно полководец, который узрел разгром темных сил в подтверждение правоты своей стратегии. Возвращаясь домой, он ликовал до тех пор, пока не попадал в свой гараж с мертвым инструментом и без-

душной древесиной. Затем его сияющее лицо бледнело от уныния, и, чтобы скрыть свой провал, он стучал и гремел деталями своей машины, словно в них был какой-то смысл. Наконец Машина стала обретать очертания, и через десять дней и ночей, дрожащий от переутомления, самоотреченный, оголодавший, бормоча себе что-то под нос, словно пораженный молнией, Лео Ауфман приковылял домой.

Дети, нещадно оравшие друг на друга, умолкли при виде Красной смерти, переступающей порог дома под бой часов.

– Машина счастья, – прохрипел Лео Ауфман, – готова.

– Лео Ауфман, – сказала его жена, – похудел на пятнадцать фунтов. Две недели не разговаривал со своими детьми, так они разнервничались, грызутся, ты только послушай! Его жена нервничает, набрала десять фунтов весу, теперь ей нужна новая одежда, полюбуйся! Зато – машина готова. А как насчет счастья? Кто знает? Лео, оставь эту затею с часами, которые ты строишь. Где ты найдешь такую большую кукушку? Человек не создан для вмешательства в такие дела. Это не противно богу, нет, но явно против Лео Ауфмана. Еще одна такая неделька, и мы похороним его в этой машине!

Но Лео Ауфман был слишком занят, чтобы заметить стремительно падающую вверх комнату.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.